



ПОЭЗИЯ
ГАУЧО



ПОЭЗИЯ ГАУЧО



ПЕРЕВОД
С ИСПАНСКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА
1964

И (Латин)

П67

Составление, предисловие и комментарии

З. ПЛАВСКАЯ

Художник

В. СУРИКОВ



ПЕСНИ ПАМПЫ

Неподалеку от Буэнос-Айреса, в долине реки Сан-Антонио-де-Ареко, раскинулся необычный музей. Посетителю там подводят коня под старинным седлом и предлагают совершить путешествие... в прошлое Аргентины. В заповеднике бывшего царит кладбищенское безмолвие, кругом ни души. Над высокими степными травами кое-где возвышаются соломенные крыши крестьянских жилищ — ранчо, видны загоны для клеймения скота, колодцы и пруды. Внимание туристов привлекает и сельская лавка-кабачок — пульперия, и старинная помещицья усадьба — эстансия. Нет здесь только того, кому, собственно, и поставлен этот своеобразный памятник, — нет вольнолюбивого обитателя пампы — гаучо.

Когда в XVI веке испанские завоеватели обосновались в устье реки Ла-Платы и выстроили здесь небольшую крепость, названную Пуэрто-де-Санта-Мария-де-Буэнос-Айрес, на сотни и сотни километров вокруг простиралась пустынная пампа. В ней обитали индейские племена гуарани, керанди и другие. Здесь, как и во всей Южной Америке, завоеватели истребили и обратили в рабство тысячи индейцев, непокорных оттеснили в глубь континента. Однако вплоть до прошлого столетия испанские завоеватели и их потомки редко углублялись в пампу, предпочитая селиться в городах или в поместьях поблизости от них. Огромные степные пространства, составлявшие значительную часть территории бывшего вице-королевства Ла-Платы (нынешние Аргентина, Уругвай, Парагвай), оставались по-прежнему мало обитаемыми. С незапамятных времен бежал сюда от преследований властей, от непосильного труда обездоленный люд колоний. В пампе беглецы вели суровую жизнь, полную лишений и неустанной борьбы с природой. Они враждовали с индейцами, но перенимали у них обычаи и слова, орудия и одежду. Дети их часто оказывались плодом смешения нескольких рас: в их жилах текла кровь не только креолов (так называются потомки испанцев, родившиеся в Латинской Америке), но и индейцев и негров. Средства к существованию обитатели пампы вначале добывали охотой и контрабандой, а затем скотоводством. С конца XVIII века в официальных документах колониальных властей и в записках путешественников их все

чаще стали называть «гаучо». Ученые и до сих пор спорят о происхождении этого слова, существует около сорока его толкований. Для нас важно другое: родившись как презрительное прозвище, равнозначное словам «разбойник», «бродяга», «человек вне общества», слово «гаучо» очень скоро зазвучало так же гордо, как «гезы» для восставшего народа Фландрии или «санкюлоты» в революционной Франции.

Уже к концу XVIII века в Ла-Плате стали возникать крупные скотоводческие поместья. Помещики захватывали и присваивали не только огромные площади пампы, но и пасшнеся здесь стада полудичавшего скота, лишая гаучо важнейшего источника существования. Многие гаучо волей-неволей шли в услужение к помещикам. Этот процесс постепенного закабаления обитателей пампы, превращения их в бесправных батраков растянулся на десятилетия; он был лишь отчасти заторможен войной за независимость и последовавшими за ней кровавыми междоусобицами.

Привычный к дальним походам и опасностям кочевой жизни, неприхотливый в быту, отличный наездник, гаучо был незаменим на войне, особенно партизанской. Еще в 1806—1807 годах, когда англичане попытались овладеть побережьем Ла-Платы, гаучо впервые приняли участие в военных действиях. Три года спустя, в 1810 году, едва прозвучал призыв к борьбе за независимость родины, тысячи гаучо пополнили ряды армии патриотов.

Однако освобождение Ла-Платы от испанского ига оказалось лишь прологом к длительному периоду ожесточенных гражданских войн и полити-

ческих междоусобиц. В Аргентине враждовали между собой две партии: «унитарии» и «федералисты», в Уругвае — партии «колорадос» («красные») и «бланкос» («белые»). За борьбой этих партий в конечном счете скрывалось столкновение буржуазии и феодально-клерикальной помещичьей олигархии. Цели обеих сражающихся сторон были в равной мере чужды интересам гаучо, ибо и помещики-латифундисты, и буржуазия претендовали на земли пампы и ее основное богатство — скот, а следовательно, угрожали независимому существованию гаучо. Но в ходе борьбы эти цели, естественно, не обнаруживались с полной откровенностью, и гаучо, обманутые демагогическими посулами, не раз становились орудием в руках представителей то одной, то другой партии. Быстрый рост капиталистических отношений в странах Ла-Платы в последней трети XIX века не только не покончил с властью латифундистов, но и еще более укрепил их позиции. К этому времени и относится решительное наступление правящих классов на гаучо. Их стремятся насильно превратить либо в карательную военную силу, либо в пеонов-пастухов в помещичьих эстансиях. Гаучо запрещают свободно передвигаться в пампе, прикрепляют к поместьям. Сотни и тысячи гаучо мобилизуются в ополчение, предназначенное охранять южную «границу» — осваиваемые земли пампы — от набегов индейцев. А в 1872 году и в последующие годы ополчение гаучо принимает участие в военных экспедициях против индейцев, в результате которых более половины индейского населения южной Аргентины было истреблено,

а оставшиеся в живых загнаны в малодоступные горные районы юго-запада. Либеральный президент Д. Сармиенто мечтал превратить гаучо, как и хлынувших в те годы в Аргентину европейских иммигрантов, в мелких свободных землевладельцев, отдав им земли, отвоеванные у индейцев. Однако эти земли достались не гаучо и не переселенцам из Европы, а латифундистам и иностранным капиталистическим компаниям. Столбы с колючей проволокой разгородили пампу; ее прорезали во всех направлениях линии железной дороги и телеграфа. «Поистине жалкой была участь гаучо — вольного охотника, храброго солдата. Метис, полуиндеец или мулат, ненавидевший белых богачей, он вынужден был прислуживать им, работать на них. Свободный гаучо превратился в раба капитала»¹. Некоторые самые отчаянные еще пытались бороться, остальные стали пеонами в эстансиях. Их и до сих пор называют гаучо, но как особая социальная прослойка гаучо исчезли в конце прошлого века. Сегодняшние гаучо сохранили, однако, многие обычаи, нравы, танцы и песни своих предков; их поэтическое творчество стало важной составной частью фольклора национальных литератур Аргентины и Уругвая.

* * *

Музыка, танец и песня были издавна постоянными спутниками гаучо. Он редко расставался с гитарой. В любой пульперии, которая была не только

¹ «Очерки истории Аргентины», Соцэкгиз, М. 1961; стр. 218.

лавкой или кабачком, но и своеобразным клубом, куда собирались гаучо со всей округи, над прилавком неизменно висела гитара. На любом празднике бродячий певец-пайядор занимал почетное место.

Подобно средневековым жонглерам Франции или шпильманам Германии, пайядоры были хранителями и исполнителями народных песен, а наиболее талантливые из них и сами слагали песни. Случалось, два пайядора встречались на одном и том же празднике, и тогда стихийно вспыхивало соревнование двух певцов — «пайяда», продолжавшаяся иногда по несколько суток. Творчество пайядоров сохранялось лишь в устной традиции, первые записи фольклора в Ла-Плате относятся только к концу XIX века. Не сохранила народная память и имен пайядоров того времени, сделав исключение лишь для одного — Сантоса Веги. Сейчас трудно сказать, существовал ли на самом деле этот знаменитый пайядор, который, если верить легендам, бродил по пампе не то в конце XVIII, не то в начале XIX века. Сантос Вега в глазах самих гаучо и в художественной фантазии многих писателей, посвятивших ему поэмы, романы, драмы, стал символом народной поэзии гаучо, живым носителем духа пампы. Он, как утверждает легенда, не знал себе равных и был побежден лишь самим дьяволом в облики человека.

Но если ни имена пайядоров, ни их творчество в том виде, в каком оно существовало когда-то, не сохранились для потомков, то более поздние записи и произведения современного народного творчества

Аргентины и Уругвая могут помочь нам составить представление о происхождении поэзии гаучо, о ее формах и направленности.

Поэзия гаучо возникла из сложного и длительного взаимодействия двух традиций — испанской и индейской. Среди завоевателей Ла-Платы было немало испанских простолюдинов, которые привезли с собой за океан свои старинные народные песни — колас (куплеты), романсы, сегидильи и другие. В Латинской Америке они прошли долгий, сложный путь развития¹. Некоторые поэтические жанры, восходя по форме к романсу или сегидилье, приобрели весьма своеобразные черты. Таковы, например, десима, ставшая одной из самых излюбленных форм современной народной поэзии Уругвая и Аргентины, или глосса — сложное сочетание четырех десим.

Но наибольшее распространение в поэзии гаучо и современном аргентино-уругвайском фольклоре получили поэтические формы, связанные непосредственно с музыкой и танцем. Это одна из характерных особенностей поэзии гаучо. Исследователи зарегистрировали около пятидесяти песенно-танцевальных жанров, бытовавших у гаучо и у аргентинских и уругвайских крестьян. Среди этих жанров особой любовью пользовались съелито, уэлья, гато, перикон, чакараера и некоторые другие.

Каждый из этих танцев имеет свои собственные, лишь ему присущие ритмический рисунок и

¹ Об особенностях различных жанров народной поэзии, представленных в сборнике, смотрите в комментариях.

танцевальные фигуры. Но все они исполнялись некогда гаучо и их подругами в часы вечернего отдыха или на празднествах под аккомпанемент гитары и под звуки песни, ритм которой подчинялся требованиям танца. Тексты этих песен довольно разнообразны, ибо пайядоры, выступавшие в данном случае и как распорядители танцев, и как аккомпаниаторы, и как певцы, создали многочисленные варианты. Нередко исполнителями песен становились также и сами участники танца.

Уже в некоторых из этих песен-танцев часть па восходит к древним ритуальным пляскам, а ритмика и образность песен — к поэзии индейцев. Еще более отчетливо сочетание староиспанской и индейской фольклорной традиции проступает в таких жанрах лирической поэзии, как видалита (или видала) и тристеса (или тристе). По свидетельству многих исследователей, видалита связана с короткими лирическими стихотворениями индейцев кечуа — так называемыми яравí.

В этих стихотворениях особенно ярко обнаруживается другая характерная особенность поэзии гаучо — сдержанность в выражении чувств. Скупые и чаще всего будничные образы лишь отчасти приоткрывают завесу над глубокими чувствами и бурными страстями, которые таятся в сердце поэта.

Все эти черты фольклора Ла-Платы восприняли и многие профессиональные поэты, обратившиеся за вдохновением к родникам народного искусства. Их творчество по праву вливается в широкий поэтический поток, который называют поэзией гаучо.

* * *

В большинстве европейских стран «книжная» поэзия своими истоками тесно связана с фольклором, да и на более поздних стадиях развития передовые деятели культуры поддерживали и углубляли эти связи. Иное положение сложилось в Латинской Америке. На протяжении нескольких столетий колониального владычества Испании немногочисленные местные креольские поэты создавали произведения, которые были лишь перепевом, а иногда и просто рабским подражанием поэзии метрополии. Война за независимость в начале XIX века, в которой ярко обнаружилось пробуждение национального самосознания латиноамериканских народов, все же мало способствовала преодолению исторического разрыва между «книжной» и фольклорной традициями. И, однако, именно к этому периоду относятся первые попытки поэтов Латинской Америки обратиться не только к изображению национальной действительности, но и к местной фольклорной традиции, как к источнику поэтического вдохновения. Такого рода попытку сделал Бартоломе Идальго¹. Его «Сьелито» и три «Патриотических диалога» (1820—1822), посвященные борьбе за освобождение Аргентины от испанского владычества, принесли ему широкую известность в народе.

¹ Краткие биографические сведения о поэтах, представленных в сборнике, даны в комментариях.

Как свидетельствует уже само название, «Сьелито» Идальго связаны с одноименным жанром песни-танца гаучо. Песня, сопровождающая танец, раньше носила любовный характер, но в годы войны за независимость она обрела новое, гражданское содержание. «Редкое событие того времени не получило отражения в каком-нибудь сьелито,— писал аргентинский поэт и литературовед Хуан Гутьеррес.— Сьелито стало зеркалом этой борьбы, и каждый триумф отечества запечатлен в народной гармонии этих песен так же, как и в гимнах и одах великих поэтов». Огромная заслуга в изменении содержания сьелито принадлежит Идальго. Его песни, как и «Патриотические диалоги», написаны от имени гаучо Рамона Контрераса и Хасинто Чано и повествуют о памятных событиях того времени — праздновании Дня независимости, осаде Монтевидео, о победе патриотической армии в долине реки Майпу и т. д.— обо всем том, что народная память стремилась увековечить. Но, наполнив сьелито новым революционно-патриотическим содержанием, сделав их острым оружием в борьбе, Идальго полностью сохранил своеобразные черты народной песни, присущие поэзии гаучо образные средства, особый язык, грубоватый, а порой и едкий юмор. Своими сьелито Идальго положил начало письменной литературе гаучо, о которой крупнейший испанский литературовед начала нынешнего века Менендес-и-Пелайо с полным основанием отозвался как об одном из самых оригинальных явлений в южноамериканской поэзии.

Со времен Идальго тема гаучо прочно вошла в

поэзию Ла-Платы. Романтики обратились к этой теме в поисках национального содержания своей поэзии. Уже в поэме «Пленница» (1837) Эстебана Эчеверрии большое место занимает лирически эмоциональная картина бескрайней пампы. В стихотворении Бартоломе Митре «Сантос Вега» (1845) впервые получил поэтическое воплощение образ легендарного пайядора. Обитателям пампы и их народным поэтам посвятил также цикл стихотворений Хуан Мариа Гутьеррес. Но поэты-романтики Ла-Платы, в общем, с пренебрежением относились к поэзии гаучо и, даже признавая ее достоинства, как это делал Гутьеррес, в своей поэтической практике ориентировались преимущественно на творчество западноевропейских собратьев по перу — Байрона, Гюго, Эспронседы.

И все же поэзия, опиравшаяся на традиции фольклора гаучо, продолжала жить. Эстафету от Идальго подхватил Иларио Аскасуби, подобно своему предшественнику обратившийся к поэзии в интересах политической борьбы. Только на этот раз противником выступала не испанская монархия, а помещичье-клерикальная олигархия, захватившая власть в Аргентине и пытавшаяся воспрепятствовать развитию стран Ла-Платы по пути прогресса. В течение многих лет Аскасуби неутомимо боролся против диктатуры Росаса, публикуя в изгнании боевые сатирические стихи в стиле гаучо. Позднее эти стихи составили целый том, названный «Паулино Лусеро», по псевдониму, которым чаще всего пользовался в те годы Аскасуби. Второй том в собрании стихов поэта составляют произведения

пятидесятых — шестидесятых годов, в которых Аскасуби, на этот раз под именем Анисето Эль Гальо, направляет острие сатиры против нового главы аргентинского государства — генерала Уркиса. Эти стихи — своеобразная поэтическая хроника гражданской войны в Ла-Плате.

Аскасуби, однако, не удовлетворился этим. Он хотел также рассказать и о самом гаучо, о его быте, труде, о природе, его окружающей. Так родился замысел поэмы, скорее романа в стихах, «Сантос Вега, или Близнецы из Ла-Флор», первые части которого появились еще в 1851 году, а полное издание — лишь в 1872 году. Довольно запутанная история двух братьев-близнецов из эстансии Ла-Флор, рассказанная устами Сантоса Веги, для автора не более как повод для поэтического повествования о жизни гаучо. Однако реализм Аскасуби носит еще довольно поверхностный характер. Поэт не идет далее бытового правдоподобия, и в этом смысле его поэма относится к получившему широкое распространение в Латинской Америке «костумбризму» — правоописательной литературе, пролагавшей лишь первые тропинки к подлинно реалистическому искусству.

К «костумбризму» примыкает своим творчеством и младший современник Аскасуби — Эстанислао дель Кампо, начинавший литературно-журналистскую деятельность в Буэнос-Айресе под непосредственным влиянием Аскасуби. Об этом свидетельствует даже избранный им псевдоним — Анастасио Эль Польо (Анастасио Цыпленок), перекликавшийся с псевдонимом Аскасуби — Анисето Эль Гальо (Ани-

сето Петух). Широкую известность Кампо принесла поэма «Фауст». Весной 1866 года в столичном оперном театре «Колумб» была представлена с большим успехом опера Гуно. Поэт решил «пересказать» содержание оперы, пропустив ее сквозь призму восприятия неискущенного в театральном искусстве гаучо, принимающего все происходящее на сцене за реальность. Однако рассказ гаучо Анастасио Эль Польо, побывавшего в театре, и комментарию к его рассказу Лагуны, другого гаучо, позволили поэту не только дать некоторые картинки быта гаучо, но и раскрыть их своеобразный духовный мир, их привычки, повседневные заботы. Костюбристские описания здесь дополняются реалистическим раскрытием психологии героев. Большой интерес представляет также и стихотворение Кампо «Правление гаучо», в котором поэт в шуливо-иронической форме выражает свою озабоченность общественными порядками, тяжелой судьбой гаучо.

Этот социальный протест, появившийся в поэзии гаучо, стал центральной темой замечательной эпической поэмы Хосе Эрнандеса «Мартин Фьерро» (1872 и 1879). Поэма-роман Эрнандеса — одно из самых ярких, значительнейших творений во всей латиноамериканской поэзии. В то время гаучо уже исчезали из общественной жизни Ла-Платы как особая социальная прослойка. И сколь бы ни был исторически оправдан этот процесс, для тысяч и тысяч людей он означал крушение привычного строя жизни, нищету, порабощение, гибель. Криком боли и отчаяния, гнева и протеста прозвучала

поэма Эрнандеса. В центре ее — судьба одного гаучо. По воле властей Мартин Фьерро насильно оторван от семьи и направлен в ополчение на «границу». Издевательства и муштра, голод и подневольный труд, опасные схватки с индейцами — горькое бремя солдатчины, особенно ненавистной привыкшему к вольной жизни гаучо, выпало на долю Мартина. Наконец он дезертирует и спешит к родному ранчо. Но там, где оно стояло, — теперь лишь пепелище. Нужда и голод развеяли по белу свету родных Мартина Фьерро. Злоба и гнев вспыхивают в сердце гаучо, отныне он станет мстителем. Преследуемый властями, точно загнанный зверь скитается Мартин Фьерро в пампе, пока наконец не переходит «границу», чтобы найти пристанище у индейцев. Вторая часть поэмы повествует о жизни героя у индейцев, о возвращении Мартина в родные места и о том, как после долгих скитаний он узнает наконец о печальной судьбе своих детей.

Трагическая судьба Мартина Фьерро не несет в себе ничего исключительного. Эрнандес подчеркивал, что в центральном персонаже поэмы он «попытался изобразить некий тип, который воплощал бы в себе характер наших гаучо, их образ жизни, присущие им чувства, манеру мыслить и говорить...». Однако, нарисовав типическую картину жизни гаучо, Эрнандес придает поэме и гораздо более широкий смысл: в ней выражен гуманистический протест автора против всякой социальной несправедливости, против произвола властей, беззакония, творимого именем закона, бесчеловечного угнетения, оскорбления человеческого достоинства. И это боль-

шое общественное содержание получило в поэме удивительно простые и вместе с тем совершенные поэтические формы. Вложив рассказ в уста самого героя, автор ни разу ни в чем не погрешил против правды характера. Весь образный строй поэмы подчинен образу мыслей и чувств гаучо. Отсюда и некоторая грубоватость языка и вместе с тем пронизывающий всю поэму лиризм. Стих поэмы насыщен внутренней динамикой, а образность тесно связана с народной поэзией. В книге Эрнандеса можно указать немало прямых цитат из фольклорных произведений, еще чаще поэт по-своему развивает фольклорные мотивы, творчески обогащая поэзию гаучо. И поэма, родившаяся в народе, написанная о народе, вернулась вскоре в народ, признавший ее своей. Популярность поэмы в Ла-Плате ни с чем не сравнима. И до сих пор в глухих эстансиях, собравшись у костра, пеоны читают поэму наизусть, часто даже не зная имени автора. Произведение Эрнандеса стало подлинно национальной эпопеей аргентинского народа.

* * *

«Мартин Фьерро» — вершина в развитии реалистической поэзии гаучо XIX века. Свообразным итогом романтической интерпретации образа гаучо в поэзии Ла-Платы явилась опубликованная в 1885 году поэма «Сантос Вега» Рафаэля Облигадо. Здесь получает наиболее законченные формы та идиллическая трактовка темы гаучо, которая была характерна для аргентинских романтиков Э. Эчеверрии, Б. Митре и других. Образ легендарного пайядора, столько раз привлекавший внимание поэ-

тов, в поэме Облигадо лишился сколько-нибудь реальных очертаний, превратившись скорее в символ ушедшего в прошлое мира гаучо. Скорбя об этом прошлом, романтически приукрашивая его, поэт осознает, однако, неизбежность и, в конечном счете, благотворность происходящих в пампе перемен. В финальной, четвертой, части поэмы — «Смерть пайядора» — Облигадо изображает последнюю пайяду Сантоса Веги; его победителем он делает Хуана Голого, чужака-гринго, прибывшего в пампу из Европы, чтобы пробудить степь ото сна, наполнить ее шумом машин, проложить здесь дороги и возвести города. Символика, которой пронизана вся поэма Облигадо, в финале, таким образом, приобретает новый и важный смысл: утверждение идеи прогресса. И в этом, как и в стремлении дать целостную, эпическую картину жизни гаучо, «Сантос Вега» оказывается близким «Мартину Фьерро».

Подведя итог развитию поэзии гаучо в XIX веке, Эрнандес и Облигадо определили вместе с тем в значительной мере и пути, по которым пошла аргентинско-уругвайская поэзия нынешнего столетия.

В конце XIX века эта поэзия, посвященная сельскому быту Ла-Платы, получила название «нативистской» (от исп. *nativo* — местный, природный). Однако в пределах «нативизма» сразу же выявились две противоположные тенденции. Одна из них связана с романтическими традициями и, в частности, с творчеством Облигадо. При этом некоторые из его продолжателей — например, Хосе Алонсо-и-Трельес, публиковавший свои стихи под псевдони-

мом Старина Панчо, Педро Леандро Ипуче и некоторые другие, — отвергая идею прогресса, сформулированную в финале поэмы «Сантос Вега», тем не менее трезво оценивали действительность и признавали необратимыми перемены, происшедшие в жизни гаучо. Отсюда в их творчестве мотивы тоски, разочарования, пессимизма. В горьких стихах Трельеса и Ипуче было много правды; именно поэтому стихи их приобрели популярность в широкой народной среде. Большинство же продолжателей Облигадо оказались бесконечно далеки от реальной жизни народа, они окружали романтическим ореолом то, что давно отжило свой век. В нынешнем столетии эти поэты хотели писать так, как писали поэты гаучо сто лет назад. Но то, что у писателей прошлого было отражением реальности, у современных их подражателей стало штампом и было лишено жизненного содержания. Это внешнее восприятие литературы гаучо неизбежно приводило к эпигонству, к упадку поэзии. С легкой руки этих литераторов в странах Ла-Платы фигура «благородного гаучо», как две капли воды похожего на голливудского ковбоя, замелькала на страницах многочисленных романов, на подмостках театров и экранов кинотеатров, даже на арене цирка.

Этой линии в «нативизме» противостоит иное, реалистическое направление, по-своему подхватившее и продолжающее традиции Хосе Эрнандеса. К этому направлению примыкает немало поэтов Аргентины и Уругвая. Наиболее значительные из них представлены в сборнике: Мигель Андрес Каминьо, Диего Новильо Кирога, Бальдомеро Фернан-

дес Морено и ряд других. Их общественные, эстетические, философские, религиозные воззрения весьма существенно расходятся. Однако творчество этих поэтов имеет и некоторые важные, общие для всех особенности, позволяющие объединять их в одно направление.

Все они понимают, что тема гаучо ныне уже не может рассматриваться изолированно, что гаучо сейчас по своему общественному положению мало чем выделяются из массы обездоленного люда Аргентины и Уругвая. Вот почему Андрес Камино и Атауальпа Юпанки в своих стихах ставят рядом с фигурой гаучо образы не менее бесправных индейцев; Новильо Кирога повествует в своих произведениях о «чакареро» — земледельцах-креолах из окрестностей Буэнос-Айреса, а Фернан Сильва Вальдес, в отличие от националистски настроенных литераторов, стремится перекинуть мостик от гаучо к иммигрантам. Недаром он создает целый сборник «Блондины на наших полях», в котором призывает «принять гринго в свои объятия и приобщить их к семье креолов».

Еще более важной особенностью творчества этих поэтов является то, что тема гаучо для них не экзотический мотив, не призыв повернуть вспять к «доброму старому времени», а путь к пониманию социальных проблем современной действительности. Поэту в центре их внимания не своеобразные черты быта их героев, как это было прежде у «костумбристов», а положение человека труда в современном обществе. Гаучо в стихах этих поэтов — бесправный неон, работающий от зари до зари, чело-

век нищий и забитый, но иногда уже протестующий. Впрочем, даже когда герои стихов еще и не поднимаются до сознательного протеста, жестокая правда, раскрываемая честными поэтами, несет в себе немалый революционный заряд и будит сознание народа.

И, наконец, еще одна важная черта реалистической поэзии «нативистов» Ла-Платы — богатство и многообразие форм и приемов. По-прежнему большинство поэтов опирается на традиции народного творчества гаучо. У некоторых из них это традиционное начало остается главным, ведущим. Таковы, например, произведения Атауальпы Юпанки, страстного собирателя и интерпретатора креольского и индейского фольклора. Традиционные формы достаточно сильно обнаруживаются и в произведениях Новильо Кироги, Хосе Рамона Луны и других. Но у большинства современных поэтов, в частности у Фернана Сильвы Вальдеса, Бальдомеро Фернандеса Морено, Серафина Хосе Гарсии, фольклорное начало предстает в значительно преобразованном виде. В их стихах мы находим, например, присущие современной поэзии поиски новых интонационных рисунков, разнообразия ритмических сочетаний, смелых метафор, неожиданных поэтических ассоциаций и т. д. Поэты, каждый по-своему, протягивают нити от фольклора к «книжной» поэзии, стремясь к новому их синтезу. Это и сближает творчество «нативистов» с другими направлениями современной прогрессивной зарубежной поэзии.

Свыше полутора столетий существует поэзия гаучо. И всегда у нее были и страстные защитники, и не менее яростные противники. Первые склонны были видеть лишь в ней воплощение истинно национальной поэзии; вторые вообще отказывали ей в праве называться поэзией, считая ее фальшивой подделкой под народное творчество. Время — самый строгий и беспристрастный судья. Литература гаучо выдержала испытание временем прежде всего потому, что лучшие ее образцы в оригинальной и самобытной форме рассказывают про радости и горе, про мечты и надежды народа. Именно это и делает интересным и близким творчество поэтов Ла-Платы нам, советским людям.

3. Плавскин



**МУЗА
НАРОДНАЯ**



КОПЛАС

Петух поет на рассвете,
а я — по ночам, чудака;
петух поет от веселья,
а я пою просто так.

Когда я беру гитару,
привольно моим рукам,
летят заботы тотчас же,
тотчас же летят к чертям.

Лишь песню начать мне стоит,
конца этой песне нет,
куплеты, как быстрые волны,
текут друг другу вослед.

Вдвоем с гитарой моею
я весел гóрю назло:
за холодом зимним, я верю,
приходит весны тепло.

Живу я один, несчастный,
сухим ненужным репьем,
мне светит луна ночами,
а солнышко светит днем.

К далекому бурному морю
течет нашей жизни река,
сегодня течет по лугу,
а завтра среди песка.

Осел бедняку на радость,
богатому конь не впрок;
чужих пирогов не надо —
вкусней свой черствый кусок.

Всегда богача с почетом
на стул сажают в гостях,
а бедный присел у порога,
да так и торчит в дверях.

Богатого поят мате,
пока не лопнет живот,
а бедный слюну глотает,
глядит и уныло ждет.

Уедет бедняк из дома
за счастьем в чужие края,
а там его гонят в шею,
и нету опять житья.

Беднягу судьба швыряет
от горя к горшей беде,
он, словно щепотка мате,
кружит в кипящей воде.

Спросил умирающий бога,
мусоля сигару свою:
— Скажи, продается кока
у вас в раю?

Не нить или нить — что делать?
Пожалуй, лучше не нить;
нитьем — это всем известно —
печаль свою не смягчить.

Ты белых любишь, белянка,
меня ты не любишь зря —
ведь белым и черным светит
одна и та же заря.

Индеец чуть жив, горемыка,
в кармане нет ни гроша,
и даже в веселой пляске
тоскует его душа.

Ношу я рваное пончо,
красоткам стыдно со мной;
ну что ж — куплю поновее,
а старое с плеч долой!

Ах, время мое уходит!
Пускай — мне его не жаль,
я смолоду пил, как воду,
тоску, и грусть, и печаль.

Над морем гроза грохочет,
над сьеррой дожди идут;
когда танцуют девчонки,
старухи сидят и ждут.

Лошадку бы мне такую,
чтоб ветра была быстрее,
на этой быстрой лошадке
помчусь к любимой своей.

Памперо, яростный ветер,
лети, набирай высоту,
звенят в твоём горле песни
про нашу пампу в цвету.

Пока любовь пребывает
в младенческом полусне,
по капле еду получая,

она довольна вполне.
Но вмиг вырастает крошка,
привыкнув к щедрой еде.
Корми — или быть беде!

Кончатся песни. Скучно!
Домой за ними пойду —
там песни висят, как груши,
на ветках в моем саду.

Любимая, для меня ты
словно река Ла-Плата:
купаются в волнах светлых
заря по утрам,
а в ласковых взглядах милой
купаюсь я сам.

Мой конь замерзает ночью
со мной у двери твоей,
меня пожалеть не хочешь,
коня моего пожалей.

Зачем мне над ранчо флюгер,
вверху на самом ветру?
Все ветры — с севера ль, с юга ль —
для бедного не к добру.

Коварна любовь, я знаю,
в тупик заводит она;
с надеждой вперед шагаешь,
и вдруг — глухая стена.

Глаза твои словно солнце:
откроешь — веселый день,
закроешь — и вмиг на сердце
ложится ночная тень.

Сигара сгорает быстро,
и жизни не долг срок;
над горсткой серого пепла
сизый течет дымок.

Тебя на восходе солнца
увидел я в первый раз;
теперь мне кажется солнце
огнем твоих жгучих глаз.

Не страшен я, хоть и черен,
ведь ты же знаешь сама,
что глазки твои чернее,
а я от них без ума.

Мне снилось, что мерзнет пламя,
а лед пылает в огне...
Ах, сон мне приснился странный:
— Люблю! — ты сказала мне.

Лицо твое пышет жаром,
глаза твои — два огня;
боюсь быть с тобою рядом, —
пожалуй, сожжешь меня.

Ты видишь, облако хочет
пролить слезинки дождя,
вот так мое сердце плачет
вдали от тебя.

Я знаю средство простое
от всех моих горьких бед:
на длинной пустой дороге
смотреть тебе долго вслед.

Уж если погаснет окурок,
зачем его зажигать?

А если разлюбит подруга —
ну что же, мне наплевать!

Любил я, и мне казалась
ты зеркалом светлых вод;
когда разлюбил, ты стала
стоячей водой болот.

Пусть имя мое не сможет
смутить твой спокойный сон:
ведь имя мое — это слезы,
а прозвище — это стон.

О боже! Сколько девчонок!
Я спрячусь на полчаса —
вот так же от кур в сторонке
таится порой лиса.

Мы любим чуть-чуть друг друга,
и ссоримся мы чуть-чуть,
«чуть-чуть» нам служит порукой,
в «чуть-чуть» вся суть.

Уж месяц как я вздыхаю
в тоске у твоих ворот,
назад меня стыд толкает,
любовь толкает вперед.

Ах, нет никакого толку
к тебе приходить домой:
один таскает солому,
а гнездышко вьет другой.

— Постой! — шепнул я красотке,
в дверях повстречавшись с ней;
она мне подставила губы —
целуй же меня скорей!

Коль ты храбрецом родился,
добьешься успеха в любви,
но если отвага бессильна —
надеждой живи!

СЪЕЛИТО

Вчера и завтра все то же,
и так еще тысячу лет...
Тебя полюбил я сразу,
едва появился на свет!

Съелито, мое съелито,
съелито, конца ему нет.
Тебя полюбил я сразу,
едва появился на свет!

Две вещи нужны мужчине
на милой земле моей —
печаль и звонкие шпоры,
чтоб конь скакал веселей.

Съелито, мое съелито,
съелито вешних цветов.
Мой нож хорошо отточен,
я к бою всегда готов.

Что лучше — орлом свободным,
не зная заботы, жить
иль тяжелой любви оковы
на сердце вечно носить?..

Съелито, мое съелито!
Едва появившись на свет,
пою для тебя, съелито.
Не жить без свободы, нет!

ДЕВУШКИ ИЗ ТУКУМАНА

Любопытными слывут
девушки из Тукумана:
все про падре узнают
в церкви поздно или рано.
Брат Хосе у них не в счет —
бреет он макушку рьяно,
а у Педро борода
хуже зарослей бурьяна.
То ли дело брат Хуан:
и пригожий, и румяный,
белокурый, как маис,
и к лицу ему сутана.
Источают мед уста
преподобного Хуана.

ВИДАЛИТА

А на ранчо у меня,
 видалита,
пусто-пусто.
А на сердце у меня,
 видалита,
грустно-грустно.

С той поры, как он ушел,
 видалита,
дни что годы,
и деревья не цветут,
 видалита,
ветки голы.

Даже птицы на заре,
 видалита,
онемели.
Слышен голубь лишь один,
 видалита,
еле-еле.

Уж давно моя душа,
 видалита,
не на месте.
С горным жаворонком я,
 видалита,
плачу вместе.

Кто тоскует по любви,
 видалита,
я — по другу,
кто страдания клянет,
 видалита,
я — разлуку.

Тучка, тучка, ты плывешь,
 видалита,
так высоко.
Передай ему, что я,
 видалита,
одинок.

Если встретишь ты его,
 видалита,
ранней ранью,
передай ему, что я,
 видалита,
умираю.

Голубь, голубь сизый мой,
 видалита,
с яркой грудкой,
отнеси ему скорей,
 видалита,
вздых мой грустный.

Отнеси ему и ключ,
 видалита,
в час заката,
ключ от сердца моего,
 видалита,
без возврата.

ВОТ ГДЕ НЕВИДАЛЬ

В этом невидаль-краю
дива дивные творятся:
свора псов бежит от зайца;
вор преследует судью;
вместо шляпы здесь бадью
надевают в непогоду;
и огнем здесь гасят воду;
вол орудует кнутом,
а возница под ярмом
тянет сам свою подводу.

Здесь правитель чтит закон,
подает при встрече руку;
смех здесь вызывает скуку;
если дурень убежден,

что не в силах править он,—
уступает пост другому;
путь домой лежит из дому;
в месяце двенадцать лет;
днем темно, а ночью нет;
пряжи здесь прядут солому.

Здесь коров поят золой;
змей встречают здесь с приветом;
здесь мороз лютует летом,
а жара стоит зимой;
добрый здесь лишь тот, кто злой;
если лошадь здесь ягнится,
то овца здесь жеребится;
бьет хозяина слуга;
у свиньи растут рога;
самый умный здесь — тупица.

Здесь употребляют скот
на подстилку; здесь от века
ящик грузит человека.
Все-то здесь наоборот,
все навыворот идет:
кошку выследит здесь мышка,—
мышке праздник, кошке крышка;
здесь невинный виноват;
если много здесь едят,
то худеют от излишка.

К БОГАЧУ КАК-ТО РАННЕЙ ПОРОЮ..

К богачу как-то ранней порою
на порог явился бедняк
с непокрытою головою:
— Ради господа бога прошу,
ради господа бога прошу,
если страждущим ты не враг,
удели мне хоть жалкую тряпку —
видишь сам, что я сир и наг.—
Богач в ответ усмехнулся,
сверху вниз на него поглядел:
— Ишь, бездельник, чего захотел!
В твои молодые годы
не просить бы тебе, а работать,
не просить бы тебе, а работать!
— Отец мой растил виноград,

у сына иная дорога.

Только тяжкие беды меня
привели к твоему порогу!..

— Да чего разговаривать тут,
по тебе, видно, плачет веревка,
обокрасть меня хочешь, плут,
мне понятны твои уловки!

— Нет, не то у меня на уме,
нет, не то у меня на уме!

Я кормчий великой славы,
мне подвластно все на земле! —

Тут ветер раздул лохмотья
и рану его обнажил —
той раной Христос Спаситель
людские грехи искупил.

Ниц распростерся богатый,
краска сбежала с лица:

— Господь милосердый, помилуй,
прости меня, гордеца!

— Слишком поздно признал ты бога,
неразумный, злой человек!

Золотые ворота славы
для тебя закрылись навек. —

И заплакал богач безутешно,
побежали слезы рекой:

— Ах, на что мне теперь богатство,
если проклят я, грешный, тобой!

Досточтимые кабальеро,
об упрянце здесь говорится,
который, как ни был богат,
не хотел с бедняком поделиться,
предпочел отправиться в ад,
предпочел отправиться в ад!

ИНДЕЙСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи-усни, сыночек,
у мамы много дел,
гору белой шерсти
хозяин спрясть велел.

Спи в плетеной люльке,
спи, не знай забот,
маму ждет работа,
маму прялка ждет.

Спи, сынок, не бойся,
баюшки-баю,
для тебя, мой милый,
козочку дою.

Не велит хозяин
братъ тебя с собой...
Как нам быть? А слезы
катятся рекой!

ДАМ-ДАЙ-НАМ...

С монастырской колокольни
паству колокол сзывает:
«бом-бим-бам» и «динь-дон-дон»...
Юноши с тоской зевают,
чинно женщины внимают.
Для монахинь этот звон
час молитвы возвещает.
И сморил нежданный сон
мать игуменью случайно...
Колокол вещает: «да-м-м-м!»
А монашки шепчут тайно:
— Дай возлюбленных всем нам!
Пресвятая дева, дай-на-м-м-м!

МАТЕ

Сьелито, мое сьелито,
вы шоколад свой оставьте —
чистокровных индейцев напиток
только крепкий горячий мате.

Индианочка, словно мате,
надо быть осторожным с нею.
Дай ей выпить отвар душистый,
чтоб любила меня сильнее.

Ах, не мучай меня напрасно
и скажи, что любишь меня ты,
как травинка в воде кипящей,
я кружусь, как травинка мате.

У меня есть ранчо и лошадь,
у меня есть напиток горячий,
индианочки не хватает,
чтоб хозяйкой была на ранчо.

Если встречу, Рамона, взгляд твой,
когда в ярком проходишь платье,
вскружит голову, жаром охватит,
словно выпил я крепкого мате.

Тот напиток голову кружит,
одному его пить не стоит.
Пусть другие вместе с тобою
поднимают стаканы дружно.

Путешествует, как проповедник,
парагвайская травка повсюду,
а сюда и дорогу забыла,
равнодушна к бедному люду.

Но вечером летним однажды
ты приедешь ко мне на лошадке.
Я налью тебе горького мате,
ты меня поцелуешь сладко.

Если бедный приходит в таверну,
а вода для мате вскипела,
пинком бедняка провожают,
плеть и палку пускают в дело.

В огороде не встретишь розу,
там на грядке одни томаты.
Где ж теперь ты, моя смуглянка,
что пила только крепкий мате?

Кошелек вынимает богатый,
а бедняк зашивает карман.
Для богатого — крепкий мате,
бедняку — придорожный бурьян.

В ЧАС С ТОБОЙ Я СВЕЛ ЗНАКОМСТВО...

В час с тобой я свел знакомство,
в два в любви тебе признался,
в три с отчаяньем воскликнул:
— Жалкий жребий мне достался! —
В пять ты сжалиться не хочешь,
в шесть тоскую одиноко,
в семь прошу тебя печально:
— О, не будь же так жестока! —
В восемь глаз не отрываю
от окна — да сколько можно?!
В девять стало мне понятно:
положение безнадежно.
В десять больше нет сомненья —
тщетен мой любовный пыл,
и в одиннадцать в седле я,
а в двенадцать — след простыл.

ГИТАРА

У моей гитары есть струны,
они говорят с друзьями,
но глаз у гитары нету,
чтобы плакать со мной ночами.

И когда я беру гитару,
когда я ее обнимаю,
легко мне становится сразу,
печаль как рукой снимает.

Я гитаре моей подпеваю,
это мне нравится очень,
шучу и смеюсь до рассвета,
с ней коротая ночи.

Несешь ты и радость и горе,
поешь ты свободно и гордо,

голос взяла ты у неба,
у женщины — стройные бедра.

Помогают забыть невзгоды
гитары струны живые,
приходили плохие женщины,
но, я знаю, придут другие.

Вечерами разные люди
сидят послушать гитару,
одни собирают окурки,
другие курят сигары.

СЕРДЦЕ, ПЛАЧЬ!

Сердце, плачь, если боль велика,
горько плачь и в печали замри,
как умели в прошедших веках
из-за женщины плакать цари.

Разве море не плачет, когда
рассекают его корабли?
Разве горько не плачет вдали
туч развеянная гряда?
Плачет в море рыбак иногда,
если сети свои потерял,
плачут люди, попавшие в шквал,
на вершине огромной волны.

Если все они плакать должны,
сердце, плачь — день печали настал!

Горько плачут в жару родники
и колодец, что выпит до дна,
обмелевшей реки глубина
слезы льет — эти слезы горьки.
Мне рассказывали старики —
горько плакал Иона-пророк,
свое счастье он не сберег.
Моисей в поражения час
зарыдал, слез своих не стыдясь.
Сердце, плачь — наступает твой срок!

По царевне мудрец Соломон
проливал слезы горькие встарь.
Сара плакала, вспомнив Агарь.
Прерывая рыданьями сон,
Артемиду оплакал Платон,
и о счастье Иаков-пророк
горько плакал, сдержаться не мог.
Плакал Урия, боль затая.
Не дивитесь, что плачу и я.
Сердце, плачь — наступает твой срок!

Или твердый не плачет металл
в очистительном жарком огне?

Иль не плачет в пустом руднике
грозным эхом последний обвал?
И огонь, что в горниле взлетал,
никнет, плача в ночной тишине,
догорает беззвучно во тьме;
плачет дерево, чуя топор.
Это значит, совсем не позор
из-за женщины плакать и мне!

РАЗБОРЧИВАЯ НЕВЕСТА

Я не прочь бы замуж выйти,
в девках мне сидеть не след,
только вот по вкусу парня
на примете нет и нет.

Этот ростом мал — забота,
чтоб его не потерять;
тот высок — как привиденье,
может насмерть испугать.
Этот стар — похож на скрипку
с оборвавшейся струной.
Этот юн — коня такого
не объездить мне самой.
Этот — толстый, как от печки
пышет жаром от него;

тот худой — смотреть противно,
и не видно ничего.

Черный — тот темнее ночи,
на него взглянуть боюсь.

Белый — крашенная кукла,
алы губки, пышен ус.

Этот нищ, карманы пусты,
сам как высохший скелет;
тот богат — про деньги будет
кукарекать сотню лет.

Разойдитесь-ка, сеньоры,
всем один даю ответ:
среди вас по вкусу парня
на примете нет как нет!

ГАТО

Вишню красную в саду
я сорвал украдкой,
меж подруг она была
вишней самой сладкой.

Жизнь моя, пойдем туда,
где ты горевала,
вместе жемчуг соберем
тот, что ты роняла.

Если любишь ты — люблю я,
если помнишь — помню,
а разлюбишь — позабуду,
хоть и не легко мне.

Если дверь закрыть покрепче
мать велит сердито,
ты ключом для виду звякни,
дверь оставь открытой.

Горлица моя, побродим
мы с тобою вместе
в том краю, где солнце сядет,
где родится месяц.

Мысли до смерти устали
от немых усилий:
утешения искали —
горе находили.

Ты сказала, что не любишь,
просто разлюбила,
не проснется, не вернется
все, чем сердце жило.

Мотылек летит на пламя.
Мы судьбою схожи:
то, что смерть мою торопит,
мне всего дороже.

МЕДИА-КАНЬЯ

Ты пляши, индианка,
топочи каблучками,
обвалитесь, балки,
и пляшите с нами.

Извивайся, красотка,
подразни меня ножкой,
не кружись так быстро,
подожди немножко.

Съешь меня, Мануэла,
проглоти меня сразу,
от веселой пляски
потерял я разум.

СНЕГ, ТЫ ШИПЛЕШЬ МНЕ ЛАПКИ..

— Снег, ты шиплешь мне лапки.
Скажи, почему ты злой?

— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а солнце,
которое губит меня.

— Солнце, ты губишь снег,
который шиплет мне лапки.
Скажи, почему ты злое?

— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а туча,
которая прячет меня.

— Туча, ты прячешь солнце,
которое губит снег,

который щиплет мне лапки.
Скажи, почему ты злая?
— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а ветер,
который гонит меня.

— Ветер ты гонишь тучу,
которая прячет солнце,
которое губит снег,
который щиплет мне лапки.
Скажи, почему ты злой?

— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а забор,
который ослабил меня.

— Забор, ты ослабил ветер,
который гонит тучу,
которая прячет солнце,
которое губит снег,
который щиплет мне лапки.
Скажи, почему ты злой?

— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а мышонок,
который грызет меня.

— Мышонок, грызешь ты забор,
который ослабил ветер,
который гонит тучу,

которая прячет солнце,
которое губит снег,
который щиплет мне лапки.
Скажи, почему ты злой?
— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а кошка,
которая ловит меня.

— Кошка, ты ловишь мышонка,
который грызет забор,
который ослабил ветер,
который гонит тучу,
которая прячет солнце,
которое губит снег,
который щиплет мне лапки.
Скажи, почему ты злая?
— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а собака,
которая треплет меня.

— Собака, ты треплешь кошку,
которая ловит мышонка,
который грызет забор,
который ослабил ветер,
который гонит тучу,
которая прячет солнце,
которое губит снег,

который щиплет мне лапки.
Скажи, почему ты злая?
— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а палка,
которая бьет меня.

— Палка, ты бьешь собаку,
которая треплет кошку,
которая ловит мышонка,
который грызет забор,
который ослабил ветер,
который гонит тучу,
которая прячет солнце,
которое губит снег,
который щиплет мне лапки.
Скажи, почему ты злая?
— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а костер,
который сжигает меня.

— Костер, ты сжигаешь палку,
которая бьет собаку,
которая треплет кошку,
которая ловит мышонка,
который грызет забор,
который ослабил ветер,
который гонит тучу,

которая прячет солнце,
которое губит снег,
который щиплет мне лапки.
Скажи, почему ты злой?
— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а вода,
которая гасит меня.

— Вода, ты гасишь костер,
который сжигает палку,
которая бьет собаку,
которая треплет кошку,
которая ловит мышонка,
который грызет забор,
который ослабил ветер,
который гонит тучу,
которая прячет солнце,
которое губит снег,
который щиплет мне лапки.
Скажи, почему ты злая?
— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а вол,
который пьет меня.

— Вол, ты пьешь ту воду,
которая гасит костер,
который сжигает палку,

которая бьет собаку,
которая треплет кошку,
которая ловит мышонка,
который грызет забор,
который ослабил ветер,
который гонит тучу,
которая прячет солнце,
которое губит снег,
который щиплет мне лапки.
Скажи, почему ты злой?
— Уж ежели кто и злой,
так это лишь человек,
который бичует меня.

— О человек, ты бичуешь
вола, который пьет воду,
которая гасит костер,
который сжигает палку,
которая бьет собаку,
которая треплет кошку,
которая ловит мышонка,
который грызет забор,
который ослабил ветер,
который гонит тучу,
которая прячет солнце,
которое губит снег,
который щиплет мне лапки.

Скажи, почему ты злой?
— Уж ежели кто и злой,
так это не я, а смерть,
которая ждет меня.

УЭЛЬЯ

Под звуки уэльки, уэльки,
под звонкую дробь каблуков
пусть закачаются руки,
как будто перья писцов.

Под звуки уэльки, уэльки
щелкните пальцами в такт,
в степи на заре терутеро
щелкают клювами так.

Голубка моя, голубка,
клювик мой золотой,
не говори подругам,
как хорошо мне с тобой.

Когда танцуешь уэлью,
и каблуков не жаль,
это давно известно —
в танце уходит печаль.

Девчонка моя, девчонка,
ответь на любовь мою,
я с этим протяжным вздохом
сердце тебе отдаю.

Под звуки уэльки, уэльки
смеюсь я, танцуя с тобой,
так ласково голубь с голубкой
воркуют ранней весной.

Под звуки уэльки, уэльки,
ночью, под бледной луной,
слившись, становятся души
одной влюбленной душой.

И прежде чем кончится танец,
голубка ответит мне «да»,
если плясать не умеешь,
что ты умеешь тогда?

Сколько сладкого меда
губы твои таят,
как хороша ты собою,
алая вишня моя!

Недаром давно известно,
что девушки в двадцать лет
сочны, как спелые вишни,—
а слаще ягоды нет.

Под звуки уэльки, уэльки
ты пальчики мне протяни,
с пальцами кавалера
пусть сплетутся они.

Смелее, моя голубка,
все пусть пойдет вверх дном!
Нам ведь ничто не страшно,
когда мы с тобой вдвоем.

Когда играют уэлью,
мне не хватает слов,
но тысячу раз твои губы
я целовать готов.

Я рад, что лишь мне, голубка,
ты даришь на танцах взгляд,
я знаю, что ты не будешь
плясать со всеми подряд.

Играя уэлью, уэлью,
гитары звенят под луной,
не говори подругам,
как хорошо мне с тобой!

ПРОЩАЙ, ГОЛУБКА

Прилетела ко мне голубка,
передо мною села,
и клювик она открыла,
словно что-то сказать хотела,

Неблагодарная птица,
ты забыла, как ночью звездной
ты спала у меня в ладонях
и от жажды пила мои слезы.

Я верил тебе, голубка,
но я не поверю снова.
Я видел вчера — ты пела,
пела в руках у другого.

Отвори мне, моя голубка,
я дорогой пришел знакомой —
захотелось тебя проведать,
лишь узнал, что одна ты дома.

УЭЛЬЯ

Ну, что я сказал такого,
что плакать стала она?
Для женщин слезы — привычка,
причина им не нужна.

Под звуки уэльки, уэльки
опять нас кружит любовь.
Земля, распахнись, откройся
и после закройся вновь.

Все девушки, видно, схожи,
пока им нет двадцати,
милы, нежны и лукавы —
опасно к ним подойти.

Я чувствую, что хмелею,
все мысли пустились в пляс,
ведь женщины все сдаются, —
так было еще до нас.

Под звуки уэльи, уэльи
дай смело руку свою,
так лист бумаги и перья
писцу для письма дают.

Пускай все кружится в танце,
пускай все кругом вверх дном,
со мной ничего не бойся,
влюбленным все нипочем.

Под звуки уэльи, уэльи
твой взгляд лукавый ловлю.
Ах, даже сказать не могу я,
как сильно тебя люблю!

ЧАКАРЕРА

Тебя я люблю, чакарера,
за то, что под твой мотив
приятно шутить с подружкой,
стан ее обхватив.

Ты просишь сплясать чакареру?
Ну что ж! Я готов уступить:
когда чакареру играют,
меня не надо просить.

Известно, что постоянство
давно не имеет цены,
поэтому мои губы
не будут тебе верны.

Ты просишь сплясать чакареру?
Сплясать я не прочь и сам,
а та, что меня не любит,
идет пусть ко всем чертям!

Такой у меня характер,
что только слегка меня тронь,
и, все на пути сметая,
взовьюсь я, как резвый конь.

Красавица из Тандила,
просторна твоя кровать,
скажи, почему не пускаешь
меня ты на ней поспать?

Мне нравится спелые вишни
срывать в незнакомом саду,
мне нравится брать чужое
с улыбкой у всех на виду.

Красавица из Айякучо,
отведай моих конфет,
а мне протяни небрежно
пустой бумажный пакет.

Сегодня мне спать неохота
и вас разбудить я не прочь,
одни спят в своих постелях,
другие — танцуют всю ночь!

Идите плясать чакареру,
хромым под луною нет,
танцуйте и веселитесь,
пока не наступит рассвет.

ПЕРИКОН

Он

Всех милее ты, красотка,
мне другие не нужны.
Ты, наверно, дочка солнца
и сестра самой луны.

Она

Я голубка молодая,
еще рано мне летать,
ты не пой своих куплетов,
не умею отвечать.

Он

В первом танце ты шепнула
кое-что на ушко мне.
Коль исполнишь обещанье,
буду счастлив я вполне.

Она

Вон стоит твоя подружка,
не дури же, куманек!
Как плясать мы дальше будем —
третий танец недалек.

Он

Ты в смущенье умолкаешь,
буду сам я говорить —
ведь я, гаучо веселый,
рад всегда тебе служить.

Она

Принимаю предложенье,
только больше не шали!
Мне достань стакан водички,
вырой хоть из-под земли.

Он

Свил гнездо я на болоте,
и кулик родной мне брат.
Попугая держит клетка,
а меня твой жгучий взгляд.

Она

Словно глупый страусенок,
попадешь ты в мой силлок.
Коль я страстью не пылаю,
то в словах какой же прок?

Он

Я прошу четыре вещи:
губы — раз! и губы — два!
губы — три! четыре — губы!
Закружилась голова!

Она

Прыток птенчик желторотый,
не сошел ли он с ума —
поцелуя жадно просит,
а кругом народу тьма!

ЗАГАДКИ

Без губ он, а свистит,
без крыльев, а летит,
без рук он, а дерется
и в руки не дается.

(Ветер)

Четыре лапы — утром,
и вдвое меньше — днем,
а вечером число их
равно обычно трем.

(мэвогэп)

Две пригожие сестрицы
соревнуются с утра,
друг за дружкой повторяя:
«Обгони меня, сестра!» —
«Обгони меня, сестра!»

(погон)

Я до полудня уменьшаюсь,
а после снова вырастаю;
вхожу я в воду и не мокну,
вхожу в огонь и не сгораю.

(знал)

В длину, как сосна,
а легче зерна.

(жизнь)

Между потолком и полом
не простой цветок взращен:
и в засушливое время,
и в ненастье влажен он.

(меч)

Два близнеца, живущих рядом,
не могут обменяться взглядом.

(взгляд)



ПОЭТЫ
О ГАУЧО



Бартоломе Идальго

СЪЕЛИТО О НЕЗАВИСИМОСТИ

Синее небо — съелито,
съелито свободы нашей!
Пуускай же индейцы и негры
в честь неба поют и пляшут!

Съелито — танец и песня,
пляшите и пойте съелито!
С неба нисходит счастье
светлой улыбкой на лица.

Ведь нынче провинции наши
вольности празднуют праздник.
Так пусть этот день прекрасный
радостью лица украсит!

Съелито горестей наших,
долго глумились над нами!
Друзья, присягайте свободе,
нам больше не быть рабами!

Мы с берегов Ла-Платы
во имя этой свободы
прошли по дорогам ратным,
жертвуя в битвах собою!

Пляшите же смело съелито,
съелито нашей победы!
Пойте о радости, люди,
кончились наши беды!

Война, война тирании!
Война, война деспотизму! —
Мужественные аргентинцы
присягают отчизне.

Пляшите съелито победы,
разогните усталые спины,
постылые рабские цепи
отныне навеки пусть сгинут!

Дадим же клятву друг другу,
что выдержим все невзгоды,
верность гражданскому долгу —
порукой тому — свобода!

Хором споем съелито,
песню о нашем единстве,
да будет залогом братства —
вечный союз провинций!

Тот, кто сеет раздоры, —
враг наших новых наций.
Честные американцы,
давайте объединяться!

Пляшите съелито надежды!
Живем мы, увы, не дважды!
И пусть на земле — не на небе —
будет счастливым каждый!

Но тот, кто родину видит
рабою чужих господ, —
тому не будет пощады,
его не простит народ!

Съелито лугов и пашен,
синих небес раздолье!
Лучше смерть за свободу,
чем жалкая рабская доля!

Да здравствуют патриоты!
Я славлю в съелито крылатом
граждан нации новой —
пастуха, поэта, солдата!

Сьелито — песня о счастье!
Кто может — пусть мне ответит:
ярче, чем в небе нашем,
бывают ли звезды на свете?

Сьелито о родине нашей
пляшите и пойте, братья,
кровью свобода добыта,
с песнями шли умирать мы!

Сьелито — танец и песня,
радостью сердце звенит!
Нас небо объединяет,
мир нам сьелито сулит!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЬЕЛИТО,
КОТОРОЕ СЛОЖИЛ ГАУЧО,
ЧТОБЫ ВОСПЕТЬ БИТВУ ПРИ МАЙПУ

Позвольте в сьелито воспеть
прекрасный, как сон наяву,
вражьей гибели день, —
день битвы при Майпу!

Небо, сьелито мое!
Из Чакабуко сьелито.
Если Марко проиграл,
то и ставка Осорио бита.

Восславит пусть это сьелито
правительство мудрое наше,
которое сил не жалеет,
чтобы земля стала краше!

Съелито вольных людей!
Да здравствуют наши власти!
Да здравствуют песни мои
о равенстве, братстве и счастье!

В памятном ныне месте,
что зовется Конча-Райяда,
Сан Мартин, генерал знаменитый,
пришел со своею армადой!

О небо, съелито гнева!
Там были ребята что надо!
Они ради скорой победы
жизни отдать были рады!

Знать, ночью враги не дремали,
напали на лагерь врасплох,
и я признаюсь, что это
для нас был тяжелый урок!

Съелито, небо возмездья!
Небо отмщенья и злобы!
Дождетесь еще, испанцы,
пересчитаем вам ребра!

Успех ваш, сеньоры, недорог —
неравными были силы,
вспомните поговорку:
что дешево, то и гнило!

Съелито, синее небо!
Лягушку спросила жаба:
— Наквакалась нынешней ночью?
Будешь помалкивать завтра!

И вновь спешат патриоты
под боевые знамена,
чтобы от вражеской крови
стала земля соленой!

Споемте, друзья, съелито!
Чтоб радость победы вкусить,
горечь горя надо изведать —
за родину кровь пролить!

С криком примчались индейцы,
точно сам черт им не брат,
в страхе испанцы бежали,
как будто попали в ад!

Небо — съелито, нет-нет!
Послушай-ка, друг Фернандо,
катись подобру-поздорову,
нам новую жизнь строить надо!

И вот с неприятельским войском
в долине реки Майпу
мы встретились утром апрельским,
чтоб битвой решать судьбу.

Небо — съелито, нет-нет!
Съелито, а может быть, да?
— Взгляните-ка, дон Осорио,
Сан Мартин к нам спешит сюда!

Грохочут испанские пушки,
от дыма не видно ни зги,
в бой ринулись наши отряды,
встречайте гостей, враги!

О небо, съелито победы!
Наутро перед расплатой
эти красавцы ночные
выглядят старовато!

Небо, съелито возмездья!
Так щедро хлестала кровь,
что воды реки Майпу
вышли из берегов!

С саблями наголо
наши бросались в атаку,
кто спасся от их клинков —
натерпелся, должно быть, страху!

Съелито, взвейтесь флаги,
восславьте победу народа!
Но мы потеряли многих —
дорого стоит свобода!

С криками патриоты
бросались навстречу врагу,
от ужаса погибали
испанцы, словно в аду!

Не видело небо, съелито,
такой жестокой резни;
одного исполосовали,
хоть спину пускай на ремни!

Рассеялся дым над полем.
Захватчиков мы проучили!
О небо, за нами победа!
Отныне свободно Чили!

Чистое небо, съелито!
Испанцы упрямы, как страус,—
они в кольце оказались
воинам нашим на радость!

Пленных было немало,
куда их гонор девался!
И мне достоверно известно,
что мате им не достался!

Съелито, небо прощенья,
испанцы как зайцы бегут,
куда вы спешите, сеньоры?
У нас лежачих не бьют!

Небо, съелито сплоченья!
Радостней нету награды,
в битвах единство народа
стало крепче лозы винограда!

Да здравствует наша свобода!
От равнин и до синих гор —
Сан Мартин, пусть тебе славу
трубит, не смолкая, горн!

Небо, съелито победы!
Сраженье при Майпу
принесло нам свободу,
решило нашу судьбу!



Иларио Аскасуби

САНТОС ВЕГА, ИЛИ БЛИЗНЕЦЫ ИЗ ЛА-ФЛОР

(ФРАГМЕНТ)

КЛЕЙМЕНИЕ СКОТА

Я должен по правде сказать:
ищи не ищи по свету —
лишь гаучо в наших краях
умеют клеймо выжигать
на диких степных скакунах;
всю храбрость свою и споровку
они выявляют при этом.
Да что говорить! Наслажденье
смотреть, как гаучо, ловко
красуясь на крупе крутом,
искусно, в одно мгновенье
справляется с диким конем,

как, лассо закинув, по лугу
он мчится на ранчо с добычей,
как, дедовский помня обычай,
приходит на выручку другу.
Пусть те, кто в своих городах
премудрость науки постиг,
коней оседлают в дорогу,
пусть в наших привольных краях
заснайки поездят немного
на резвых степных скакунах!
Не надо осмеивать всех,
сейчас говорю я о тех,
что, важную мину храня,
на гаучо смотрят с презреньем
за то, что бедняга не знает,
когда, совершив оборот,
луна против солнца встает
и тень на него бросает,
и, значит, начнется затменье,
а попросту — полный мрак
наступит средь бела дня.
О чем тут вести разговор?
Да если обычный чепрак
повесить в комнате так,
чтоб он заслони́л окно,
мгновенно станет темно.
Так делают с давних пор

когда это нужно больному,
ведь это понятно любому
и вовсе не сложная штука;
скажи мне, при чем здесь наука?
Заснайки уверены в том,
что могут судить обо всем,
мы спорить не будем, пускай
приедут они в наш край,
пускай все узнают сами,
увидят своими глазами,
поймут что к чему, а потом
попробуют пусть смекнуть,
как надо лассо метнуть,
чтоб сразу, одним броском
быка разъяренного сбить.
Так пусть же, опять повторяю,
они в наш край приезжают —
попробуют в пампе пожить,
пусть самый ученый из них,
такой, что похвастать не прочь,
в ненастную, хмурую ночь
покружит по черным болотам,
среди наших трав густых,
а после пускай ответит,
как нам узнавать в пути,
где солнце должно взойти.
Смешно даже слышать! Ну что там

гадать — это знают и дети,
нагнись и взгляни на тростник!
Ведь каждый гаучо знает,
что падает он, высыхая,
верхушкою на восток.
Это, как день, всем ясно,
хотя и загадка для тех,
кому невдомек, что мясо,
конечно, не будет готово,
два раза вскипев в котелке.
Тогда его вытащить надо
и бросить в холодную воду,
потом должно оно снова
вскипеть на огне разок —
пустить золотистый сок.
Или вот масаморра:
не станет никто отрицать,
что можно с огня ее снять
лишь после того, как в горшок
положат железный кружок —
тогда она сварится скоро.
Еще пусть зазнайка ответит
(он ходит в ученых не даром,
и все ему ясно на свете),
как наш необъезженный конь —
порывистый, сущий огонь —
лишь гаучо метким ударом

метнет ему в ноги бóлас
и вырвет из гривы волос,
и, низко пригнув ему уши,
их конским волосом свяжет, —
как этот порывистый конь
вдруг делается послушным
и, взнузданный сильной рукой,
становится кроткой овцой?
Нанду́ — всем известно — тоже
сам дьявол догнать не сможет,
но гаучо птице в ноги
болас смело бросает,
четыре пера из крыла
крестом ей в ноздри втыкает
и гонит нанду по дороге,
как гонят на ранчо осла.
Но это искусство дано
лишь гаучо, тем, что живут
среди холмов и полей,
все умники — неучи тут.
Что могут они? Лишь одно —
дразнить больных лошадей...

Зато есть немало других,
действительно сильных в науке,
и верь мне, что, слушая их,
не станешь зевать от скуки.



Эстанислао дель Кампо

ФАУСТ

(ФРАГМЕНТ)

(Разговор двух гаучо об опере «Фауст»)

— Будто на богослуженье,
пятый день валил народ,
и карет — невпроворот,
и смятенье, и движенье.

Все спешат в театр Колумба,
норовят пролезть вперед
и толпятся, точно скот,
возле касс, толкаясь грубо.

Я налево и направо
всех крушил и страшно взмок,
но зато прорваться смог
и добыл билет по праву.

100

Но когда я обернулся, —
боже мой! — как шквал морской,
раскатился гул людской, —
вижу: кто-то растянулся.

Слышу: обморок... старуха...
— Ну, понятно, тесноват
был загончик для ягнят,
вот и вышла заваруха!

— Слушай! Наконец-то, к счастью,
вытолкнул меня народ,
будто бы водоворот,
чуть не разорвав на части.

Двух подошв мои ботинки
были разом лишены,
и разорваны штаны
были на две половинки.

А в итоге перепалки
я хватился: где мой нож?
Кто стянул — не разберешь
в распроклятой этой свалке.

— Ну, приятель, не иначе
вор был гринго; все они
вору этому сродни.

— Ладно, крест на неудаче!

101

После этого потопа
мне — на верхние места,
и ступенек больше ста
я, едва живой, протопал.

Наконец наверх забрался.
Место занято мое.
Сплошь толчется мужичье,
самый темный люд собрался.

Я и слов не говорил им,
растолкал весь этот сброд,
и протиснулся вперед,
и пристроился к перилам.

Приподнялся в это время
занавес, и свет — в глаза,
флейт запели голоса,
я заслушался, поверь мне.

Объявился на помосте
некий старец. Говорят —
доктор Фауст... Чудной наряд,
борода, глаза да кости.

— Погоди! Сказать по чести,
Фауст — не доктор, он креол,
офицер, здоров, как вол, —
мы же с ним служили вместе.

— Черта с два! Того я тоже
знал когда-то, он верхом
красовался на гнедом,
но... отъехал в царство божье.

Пусть порхает в небе птичкой!
Речь о докторе зашла,
ведь бывают два осла
с одинаковою кличкой.

— Да, перед твоею глоткой
и башкой я просто нем.
— То-то... Я охрип совсем,
дай почищу горло водкой.

Можжевельным настоем
и башка крепка... Так вот,
вышел доктор и поет,
дескать, ум гроша не стоит.

Все науки — прах, и только,
зря над книгами потел:
вот блондинку захотел,
а она его — нисколько.

Он красоту безуспешно
каждый день — козел козлом —
караулит за углом,
ночью плачет безутешно.

И, устав от слез давиться,
видя, что житье невмочь
и что горю не помочь,
доктор вздумал отравиться.

Тут, прервав рассказ, господне
имя он ошельмовал,
шапку бросил и призвал
властелина преисподней.

Я бы — трезвый или пьяный —
божий страх не позабыл...
Вдруг — как будто рядом был —
появился окаянный.

Фауст крестился... Мать честная!
Я крестился и дрожал...
— Как же ты не убежал?
— Я и сам того не знаю!

Ну и черт! Глаза как плоски,
длинный и, как жердь, худой,
и с козлиной бородой,
и с когтями, как у кошки.

Брови вскинутые гордо,
шляпа черная с пером,
плащ расшитый серебром,
черные чулки по бедра.

«Вот и я! Готов к услугам, —
дьявол доктору сказал, —
ты меня, приятель, звал?»
Доктор был сражен испугом.

«Страх мужчины недостоин, —
продолжает сатана, —
прикажи! И все сполна,
все, как хочешь, мы устроим».

Доктор было заикнулся,
чтоб его не мучил бес,
чтоб немедленно исчез,
да не на того наткнулся.

Убеждать пошел нечистый
так, что доктор хоть взопре,
но, однако, подобрел, —
бес уж больно был речистый.

— Видно, доктор спятил, право!
Верить черту самому?!
— Да, с три короба ему
напести сумел лукавый.

Мол, любое повеленье
стоит Фаусту произнеть,
Мефистофель все, как есть,
выполнит без промедленья.

Поначалу он деньгами
бешеными соблазнял,
но старик ему не внял,
только замахал руками:

«Не корысть мне сердце гложет,
счастье жизни не в казне,
надобно другое мне,
то, что всех богатств дороже...»

Оживился искуситель:
«Не богатство? Значит — власть?
Почести? Так царствуй всласть, —
пожелай, и ты — властитель!»

«Честолюбью отдал дань я, —
отвечал старик седой, —
я хочу лишь сердце той,
что приносит мне страданья».

Тут раздался адский грохот —
черт смеялся... Верь не верь —
мне ночами и теперь
сатанинский снится хохот.

И ногою топнул левой
дьявол, будто бы шая,
и разверзлась вдруг земля, —
ахнул доктор перед девой!

— Что за вздор! На сердце руку
положа признайся: врешь.
— Да не вру я ни на грош,
в том полгорода порукой.

Если б видел ты, какая
та блондиночка была,
до чего ж она бела,
ну совсем как восковая.

Нет, белее простокваши...
Поглядишь — сойдешь с ума,
словом — девственность сама,
всех девиц на свете краше.

Вот портрет, вообрази-ка:
золотой маис — коса,
синева небес — глаза,
зубы — жемчуг, рот — гвоздика.

Тут и кончить бы мороку!
К милой ринулся старик...
«Стоп! Не сразу все», — и вмиг
черт закрыл ему дорогу.

«Рассуди сперва получше
да бумажку подпиши, —
под заклад своей души
ты красавицу получишь».

Доктор тут же согласился.
Не вступая больше в спор,
подписал он договор
и, видать, совсем взбесился.

— Доктор — и такая сделка!
Ну и срам! Помилуй бог!
— Бес в любви ему помог,
это тоже не безделка.

Все как будто в лучшем виде,
да не старому хрычу
та забава по плечу,
и опять же он в обиде.

«Нет ли, — говорит, — напиток,
чтоб меня омолодить?»
Догадался: так блудить —
безнадежная попытка.

И случилось вдруг такое —
хоть не верь своим глазам!
После этого и сам
ты бы, друг, не знал покоя.

Может, видел превращенье
гусеницы в мотылька?
Ожидало старика
чудо перевоплощенья!

Шляпа, мантия, седины —
все растаяло как сон,
молодым красавцем он
обернулся в миг единый.

— Да неужто все мгновенно
вышло так? Спаси Христос!
— Если ложь я произнес,
провалиться мне в геенну.

Дьявол своего добился,
он на чудеса горазд.
Тут и занавес как раз
потихоньку опустился.

Говорил я слишком много, —
рот уж больно пересох...
Дай глотнуть еще разок,
без бутылки — как без бога.

ГАУЧО-ПРАВИТЕЛЬ

Однажды я выпил столько,
что, кажется, кабальеро,
сейчас еще пьян без меры,
хоть я на выпивку стойкий.
Вот это была попойка!
Представил себя тогда я
правителем нашего края,
речей произнес я без счета,
издал я законов до черта,
дубиною в пол ударяя.

Шатаясь, нетвердой походкой
из кухни я вышел в залы,
дубину, как жезл, держал я,

хотя от выпитой водки
я видел не очень четко.
Тараща глаза пустые,
я речь произнес впервые,
едва языком владея,
но громко и не робея
сказал я слова такие:

— Приказываю: отныне
нам жить по-другому надо,
пусть тот, кто ходит за стадом,
заботится о скотине,
а если поля на равнине
гаучо засеваает,
пусть сам урожаем снимает;
вот правильное решенье!
Пусть гаучо в каждом селенье
за дело свое отвечает.

Пусть землю дадут нам тоже
без споров и поскорее,
ведь знатные богатеи
на пьяниц жадных похожи,
и совесть их не тревожит.
Так хитро они рассчитали,
всю землю в аренду взяли,

хоть это несправедливо,
но спорить и не могли мы
и к ним в батраки попали.

Ведь только по божьей воле
трава на земле вырастает,
и тучу бог посылает,
дождем орошая поле.
А мы посмеемся вволю,
мошенников этих обманем,
работать на них не станем,
пока у нас нету места,
чтоб ранчо построить, где в съесту
от солнца скрываться станем.

Бесплатно жениться можно, —
вот что приказ мой значит.
Пусть когти алькальд свои спрячет,
и комендант пусть тоже
списки свои отложит.

Пусть честно судья селенья
выносит свое решение,
и пусть он не судит строго
того, кто выпил немного,
ведь это для нас развлечение.

Заняв правителя место,
также повелеваю:
пусть лавочник обещает,
что будет торговля честной,
давно уже всем известно
то, что скажу теперь я:
нет к торговцам доверья,
они то вино разбавят,
то в мате травы добавят,
и непременно обмерят.

Кто хочет оставить селенье,
пусть едет куда угодно,
каждый рожден свободным.
Не станет хозяин имения
себе на отъезд разрешенье
спрашивать у кого-то,
и если он беззаботно
разгуливает повсюду,
то гаучо тоже не будут
давать никому отчета.

А если сказать кто может,
что правил я неумело,
тому разрешаю сделать
чепрак из моей же кожи,
но правил я здорово все же;

Цыпленком меня прозвали,
но все сегодня признали,
что я креол настоящий,
хоть, может быть, пьяным чаще
чем трезвым меня видали.

Не раз мне выпить случалось,
частенько это бывало,
и нынче выпил не зря я;
а если какая малость
в бутылке моей осталась,
то губернатор тоже
выпить немного может,
ну, а потом, без сомненья,
улучшит свое правленье,—
ведь водка всегда поможет.



Хосе Эрнандес

МАРТИН ФЬЕРРО

(ФРАГМЕНТЫ)

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Начинаю петь я песню
под гитарный перебор.
Нет покоя с давних пор
мне от неизбывной боли;
словно птица из неволи,
горе рвется на простор.

Призову я всех святых:
пособите, не оставьте
и на ум меня наставьте;
память проясните мне:
коли в давней старине
что забуду,— уж подправьте!

Пусть святые чудотворцы
речи складность придадут,
зрению остроту пошлют.
К помощи воззвав господней,
зачинаю я сегодня
долгий и нелегкий труд.

Есть у нас певцы (их слава
по заслугам велика) —
пели встарь про бедняка,
да примолкли, — будто в спячке.
Гарцевал конек до скачки,
а скакать — кишка тонка.

Но не след Мартину Фьерро
спотыкаться на скаку.
Раз уж взялся, не сбегу.
Все поют, так неужели
я с другими в этом деле
потягаться не могу?

С песней жил я, с ней умру,
с ней я странствовал повсюду,
с ней я похоронен буду,
с ней явлюсь перед творцом:
раз уж я рожден певцом,
им вовеки я пребуду.

Пусть слова приходят сами
и ложатся в песнь мою,
как колеса в колею.
Ежели запел я песню, —
подо мной земля хоть тресни,
до конца я допою.

Поудобней примошусь
и, не мудрствуя лукаво,
петь вам стану — не для славы,
без вранья, как есть подряд;
ветер будет петь мне в лад,
подпевать мне будут травы.

Я не грамотей, но все же
без усилья, без труда,
как из родника вода,
льются из меня куплеты;
а замолкну я, тогда
знайте: песня моя спета.

Как возьму гитару в руки,
тут никто мне не указ;
и полется мой рассказ,
как поток, неудержимо;
вторя мне, заплачет прима,
глухо зарыдает бас.

Словно бык в своем коррале,
не боюсь я ничего.
Коль сочтешь за хвастовство,—
молодой ты или старый,
выходи, садись с гитарой
и посмотрим — кто кого.

Я иду своей дорогой,
не сверну, покуда жив.
Я с учтивыми учтив,
а с задирами — задира:
нарушать не стану мира,
но в сраженье не труслив.

Сердце у меня не дрогнет,
а рука, хвала творцу,
не изменит удалцу.
Рад бы жить незлобно, тихо,
но, случись любое лихо,—
встречусь с ним лицом к лицу.

Гаучо я прирожденный,
нет хозяев надо мной,
вся земля мне дом родной;
ярый бык меня не свалит,
гад ползучий не ужалит,
не спалит полдневный зной.

Вольным я рожден, как рыба:
в море ей преграды нет.
Что дано мне с малых лет,
то никто уж не отымет,
с тем господь меня и примет,
с чем явился я на свет.

Вольный я, что птица в небе.
Только мне уж никогда
на земле не вить гнезда;
коли в поднебесье взмою,
не летит никто за мною,—
разве горе да беда.

И любовь меня не скрутит:
птица, что гнезда не вьет,
на любом сучке заснет.
Мне ни голодно, ни зябко,
мне постель — травы охашка,
кровля — звездный небосвод.

Кто послушает — узнает
о судьбине о моей;
не смутьян я, не злодей;
если ж в грабежах замешан
да в смертоубийстве грешен,—
то вина лихих людей.

Я поведать вам хочу,
по каким таким причинам,
бывши добрым семьянином,
сделался я дик и груб,
прячусь в логове зверином,
люди кличут — душегуб.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Жил и я в своем дому
(не скитался, будто нищий,
в поисках норы и пищи),
да погнали воевать,
а когда вернулся, — глядь! —
вместо ранчо — пепелище.

Жили мы с женой в достатке:
дом был, утварь и стада.
Как птенцы в тепле гнезда,
мирно подрастали дети...
А теперь — один на свете,
все исчезло без следа.

За припасом в пульперии
ездить было мне в охотку.
Промочив изрядно глотку,
песней тешил я народ:
сядут в круг, меня — в середку,
песня что река течет.

Так-то раз и начал петь
добрым людям я в забаву,
а судья — вот черт лукавый,
шкура, чтоб ему пропасть! —
выждал, высмотрел и — шасть!
Угодили мы в облаву.

Те, что были половчее,
прыг в окно — и наутек,
ну, а мне и невдомек:
за собой греха не видел,
сроду мухи не обидел.
Сдуру-то и влез в силок.

Много было нас. Был гринго
с обезьяной и шарманкой:
над плясуньей-обезьянкой
хохотал до слез народ.
Славно началась гулянка,
да худой был оборот.

Был там землекоп-поденщик,
как слышал я от ребят, —
беглый аглицкий солдат.
Видно, ум имел он здравый:
воевать — на кой, мол, ляд?
Нет, уж лучше рыть канавы.

Взяли всех под караул,
словно мы — злодеев шайка;
был им гринго-попрошайка
все едино что певец.
Спасся лишь один шельмец:
вызволила, вишь, хозяйка.

Сбили всех в один табун,
и такое нам решение:
в пограничном ополченье
срок придется отбывать.
Ну, дела! Ни дать ни взять —
дьявольское наваждение.

С выборов еще последних
зол был на меня судья:
ведь голосовать-то я
и взаправду не являлся.
Как он рявкнет: «Ах, свинья!
Ты в пузницу подался?»

Вот в чужом пиру похмелье!
Мне плевать на них на всех.
Этих выбирать иль тех —
все едино: ихний «список»
не наполнит наших мисок,
не заштопает прорех.

Насулили, будто в церкви,
всяких небывальщин нам.
Повторил раз десять сам,
сукин сын, судья проклятый:
«На шесть месяцев, ребята,
а потом — все по домам».

Оседлал я вороного.
Вот конек был! Ей-же-ей,
лучших я не знал коней:
с ним на скачках в Айякучо
денег выиграл я кучу.
Конь для нас всего главней.

Я жеребчика навьючил
всем накопленным добром:
пончо взял, стянул ремнем
войлоки да одежонку...
И свою оставил женку
почитай что нагишом.

Сбрую всю свою и снасть
прихватил я в путь-дорогу:
лассо, болас, хлыст, треногу...
Полной чашей был мой дом.
Верьте, нет, но я, ей-богу,
не всегда был бедняком.

Потрусил на воронкѣ
я с оружием и поклажей
в пограничный форт. Под стражей.
Прибыли. Тьфу, что за черт!
Да неужто это — форт?
Он норы крысиной гаже.

Зароптали, кто постарше,
не жалели крепких слов.
Но один из крикунов,
по приказу офицера,
был растянут, для примера,
между четырех столбов.

А начальник объявил нам
о приказе о своем:
беглецов хватать живьем
и — полтысячи горячих.
Дескать, «с вас, детей собачьих,
шкуру заживо сдерем».

Нам не выдали оружия,
а что было — отобрали
для хранения в арсенале:
дескать, на руки дадут,
коль индейцы нападут.
Тут и крикуны смолчали.

Били мы сперва баклуши,
а потом за нас взялись:
ну, солдатики, держись!
Душегубам да ворюгам —
тем была бы по заслугам
эта каторжная жисть.

Нас плашмя лупили саблей
по плечам да по хребту;
коль смолчать немоготу, —
будет разговор короткий:
упекут тебя в колодки
на лихую маету.

Где походы на индейцев?
Где казармы? Где ученья?
Знай в полковничьем именье
новобранец спину гнет.
Ежели мы — ополченье,
кто ж тогда рабочий скот?

Сеял, жал и молотил я,
хлеб ссыпал я в закрома,
клял кирпичные дома,
глину мял, сучил веревки,
из соломы плел циновки...
И все это — задарма!

Если ж кто из нас, озлобясь
от такой лихой судьбы,
становился на дыбы,
он потом не рад был жизни!
Взяли нас служить отчизне,
а попали мы в рабы.

Минул год. А что ж индейцы?
Днем и ночью мы в трудах,
а они, возьми их прах,
заявились к нам и скоро,
видя, что им нет отпора,
вовсе позабыли страх.

Нам разведка приносила
новости день ото дня:
тут нашли, мол, труп коня,
там, мол, вся земля изрыта,
явственно видны копыта.
Да, индейцы — не брехня.

Вскорости был сбор объявлен.
Чуть прикрыты мы тряпьем,
на одном коне вдвоем,
без оружия и без седел.
Коли вправду враг нашкодил,
то-то мы его пугнем!

Нам устроили манервы.
Тут уж было не до сна:
спозаранку допоздна
на ученьях мы потели.
А капрал в военном деле
сам не смыслил ни хрена.

И оружия наконец
дали малую толику:
кто взял саблю, кто взял пику...
Ружей было сколько хошь,
только в том, вишь, закавыка,
что без пуль цена им грош.

Спьяну выболтал сержант:
был и порох, мол, и пули,
да начальники смекнули
про охотничью нужду, —
наши пули — для косули,
весь наш порох — для нанду.

Как прослышим, что индейцы
учинили где грабеж, —
мы за ними. Только что ж:
с фронта атакуй иль с фланга,
до индейского мустанга
саблей разве досягнешь?

.



Рафаэль Облигадо

САНТОС ВЕГА

(ФРАГМЕНТЫ)

I. ДУША ПАЙЯДОРА

Едва только день клониться
начнет, зарыдав, к закату, —
скорбная тень куда-то
вдаль по степям промчится.
Когда рассвет загорится
розовым, нежным морем,
с каждой травинки смоем
черную краску ночи, —
тень убегает молча,
к земле придавлена горем.

Верят креолы, будто
теплою ночью лунной
тень над глухой лагуной

вдруг замирает чутко,
и происходит чудо:
парит она над водою,
как облако, — но живое,
как парус, — но парус дышит,
дрожа от восторга, слышит
медленный гул прибоя.

Все знают: если найдется
кто-нибудь, кто захочет
повесить гитару ночью
на крестовине колодца, —
тень ее струн коснется,
закутает в плащ и спрячет.
Миг — и на струнах спящих
сыграет кто-то вступленье
легким прикосновеньем
не пальцев, а слез горячих.

И, говорят, в кромешной
тьме, когда слепнет небо
и утопают немо
степи в своем безбрежье, —
свет беспокойный брезжит.
Свет или света призрак?
Он то далек, то близок,

то вспыхнет, то замирает,
словно во сне играет,
грезит крылатым бризом.

Если ему приснится
буря,— то не словами,
вскрикнет огонь громами,
молнией вдаль промчится,
змеем зашевелится,
омбу́ обовьет, ликуя,
жаля, шипя, бушуя,
долезет до верхних веток
и выпустит напоследок
сверкающий дождь чешуек.

Летом во время съесты
чудятся людям волны —
мчится река безмолвно
между лугов окрестных.
Призрачный всадник места
ищет для водопоя,
над призрачною рекою,
по изумрудным склонам
он едет, печалью скован,
с гитарой, всегда немою.

Тень в отраженье тени!
В призрачной речке — призрак!
Кто ни проедет близко —
не избежит смятенья,
в горле застрянет пенье.
Покуда мираж продлится,
проезжий будет молиться
об этой тоске бездонной,
об этой душе бездонной:
Сантоса дух томится!

Здесь вырос я, здесь родился,
на родине пайядора,
где, пампу окинув взором,
он песней с нею делился.
Я жил и одним гордился:
что солнце на этом небе
растило меня, как стебель,
что вам я обязан жизнью —
Эчеверри́ отчизна,
Сантоса Веги степи!

IV. СМЕРТЬ ПАЙЯДОРА

Завесу зеленых листьев
горлинки полюбили:
они себе гнезда свили

на этом омбу ветвистом.
Спит в уголке тенистом,
где солнечный луч не тронет,
запутавшись в пышной кроне,
под сенью живых побегов
прославленный Сантос Вега,
а ложе сплетают корни.

Никто не проходит мимо:
гитара висит немая,
она молчит, отдыхая,
и все же хранит незримо
напевы песен любимых.
И люди живой оградой
молча толпятся рядом,
спящего не тревожат,
предупредив прохожих
знаками или взглядом.

К спящему старец вышел,
тихо его коснулся,
словно листок качнулся, —
так ветерок неслышный
ветви едва колышет.
Отвагой любовь гордится —
и девушка, баловница,
к гитаре вдруг подбежала,

струны поцеловала.
У всех посветлели лица.

Вдруг раздается топот.
Ты оказалась хрупкой,
тихого сна скорлупка!
Всадник летит галопом,
ближе и ближе... Вот он!
Быстро с коня слезает,
мирных крестьян такая
дерзость его и сила
смutilа, ошеломила...
Всадник певца толкает.

Поднял глаза пришелец, —
вздрагнули все от страха:
мертвые бездны мрака
в этих глазах темнели.
Люди оцепенели.
Видя толпы смятенье,
молвил чужак с презреньем:
— Не знаю, кто друг, кто недруг,
по мне что Хуан, что Педро, —
рассудит любой сраженьем!

Взглянул холоднее стали
прославленный Сантос Вега,

но пришлому человеку
глаза его все сказали.
— Знакомства не вы искали, —
промолвил чужак на это, —
для песен, что нами спеты,
простор Аргентины тесен,
сразимся оружием песен;
рассудит толпа поэтов!

Он дерзкое молвил слово —
и вновь толпа удивилась:
откуда-то появилась
гитара вдруг у чужого!
И та же девушка снова
к дереву подбежала,
певцу своему достала
гитару из тучи листьев,
струны к губам приблизив
в знак, что их целовала.

Хуаном Син Роба звали
пришельца. Хуаном Голым.
Мелодия, звучный голос
понравились всем вначале.
Тристе его не знали,

в здешних местах не пелось
нежное это съело,
и от его созвучий,
чарующих и певучих,
сердце словно пьянело.

Сантос внимал с волнением
мастерскому искусству.
Сердце забилося чувством
гордого вдохновенья.
Начал в ответ он пенье.
Он пел о ветрах, просторе,
о ясных, прозрачных зорях,
чьи краски нежны, чудесны,
пел он родные песни,
древние, словно море.

Умолкнул гитары рокот.
И тьма покров разостлала,
тихая ночь настала.
Поднялся Хуан Син Роба,
все слышали листьев шепот,
и каждый внезапно замер:
на ветку вспорхнуло пламя.
Лишь ветки чужак коснулся —
в ней тотчас огонь проснулся
и вспыхнул над головами.

Пламя, клубясь, шипело,
снова запел пришелец,
очи его горели, —
все на земле запело,
все на земле хотело
сделаться гулким эхом
или кузнечным мехом,
чтобы раздуть, как пламя,
песню под облаками
в ритме безумном этом!

Песня была такую,
что люди себя забыли,
они не собою были,
а каждый — словно струною,
а каждый — словно странною;
люди в себе открыли
могучего духа крылья,
чьи взлеты и озаренья,
мучительный страх паденья —
и сила их, и бессилье!

Была эта песня зовом,
криком была крылатым
порыва, что звал куда-то,
вдаль улетающая снова.

Стране простора степного
грезился труд, который
не был ее опорой,
посевом ее и жатвой,
была эта песня клятвой
пахаря сдвинуть горы!

Этот могучий голос
степи заставил грезить:
город в стекле, в железе
вырастить, словно колос, —
сколько их... Раскололась
ширь от стального гуда...
Вот оно, это чудо,
вот она, эта пропасть, —
это поет Европа,
Син Роба пришел оттуда!

Чудная песня века
Сантоса окрыляла.
— Я побежден, — сказал он
гордому человеку.
Строг и спокоен Вега,
только слеза тревожит
струны горячей дрожью.
Впрочем, не все пропето:
любимая ждет привета,
с ней Сантос проститься должен.

Запел он: «Прощай отныне
ты, песен моих источник,
мой полевой цветочек!
Тоску по родной равнине
кто у меня отнимет?
Я побежден, крестьяне,
Веги сейчас не станет —
в пампе, где нет предела,
дух мой растает, тело
в землю, как в воду, канет».

Струны от слез дрожали,
капли — словно удары.
Смолкнувшую гитару
руки еще держали,
а пламя, клубясь и жаля,
с ветки и на другую
ползло, шипя и бушует, —
став змеем, обвившим ветку,
обрушил Син Роба сверху
сверкающий дождь чешуек!

И все, как мираж, пропало.
Свидетелей словно ветром, —
судьбе что Хуан, что Педро, —
всех по свету разметало.
Но правду преданье знало.

Сказал старик величавый:
— Погиб пайядор со славой,
со славою, с новой песней!
А кто виноват — известно,
раз в дело вмешался дьявол!



Хосе Алонсо-и-Трельес

СТЕРТАЯ ЛЕНТОЧКА,
СТАРАЯ ПЕСЕНКА...

Как же он звался, чудак,
давший мне этого пса?
— Никто. По прозванию Никак.
Пес дался мне в руки сам.
Сам прибежал на ранчо,
как человек на огонь.
Когда?..

На неделю раньше,
чем пал мой соловый конь.
Вот тогда-то явился вдруг он,
усталый, хромой,— и лег.
Каким он учуял нюхом,

что я без него —

одинок?

Но тьмою были полны
зрачки его —

и молчали.

Откуда он? Как я, из страны
воспоминаний печальных?

Откуда он? Я его угостил.

Мотнул головой он, пищу заметив,
как будто движением возразил,
что пришел ко мне не за этим.

За чем же? Остался нем он,
а я подумал тогда:

«Собак иногда преследует небо,
вот как меня —

беда».

Явились воспоминанья.

И пока в их стране я жил,
во время моих скитаний
мой гость меня сторожил.

Я мате пью, он резвится,
а ночью худо ему.

Скулит он во сне, словно прошлое

снится,

забытое наяву.

Ему вспоминать невесело,
а он позабыть не может,

и в мысли влетается стертая
ленточка,
старая песенка:
«Женщины и собаки...
Это одно и то же...»

ХОП-ХОПА!

Однажды, сидя в ранчо, я с бедами своими
вел долгую беседу и вдруг услышал топот.
Казалось, среди ночи там кто-то гонит стадо,
мне чудился далекий пастуший крик: «Хоп-
хопа!»

Я вышел... В отдаленье закутанного в пончо
погонщика на кляче я разглядел сквозь темень.
У стремени висели болеадорас, лассо,
но гнал он не животных, а сумрачные тени.

— Послушай-ка, приятель, кого ты
погоняешь? —
спросил я. — Хоть ослепни, не разгляжу в
тумане!

— Хочу я глупым гаучо продать на скотном
рынке
откормленное стадо надежд и ожиданий.

— Ну что же, если рынок сулит тебе удачу,
не поленись заехать дорогою обратной:
и у меня все стойла полны таким товаром,
я уступлю по дружбе тебе его бесплатно.

Я понял — кто погонщик! Он —
Разочарованье!

А он с усмешкой легкой пустил коня галопом
за призраками следом... И с той поры ночами
ко мне доносит ветер пастуший крик:
«Хоп-хопа!»

СЛЕД

Хозяин, налей-ка водки
в этот стакан большой,
я залпом его опрокину,
грусть прогоню долой.

Тоска мою грудь сдавила,
в горле как будто ком,
мне губы спалила жажда,
весь я горю огнем.

Хозяин, дай-ка гитару,
помнишь, как я играл?
Может быть, я забуду
то, что сегодня видал...

Домой на заре я вернулся,
смотрю — от моих ворот
по смятому, мокрому лугу
след непонятный идет...

Может, соседской собакой
был оставлен тот след,
но, странно, откуда он взялся?
Собак у соседей нет...

Я спрыгнул с коня — и к двери,
вижу — жена не спит...
Хозяин, налей-ка водки,
горло огнем горит.

Нигде не найдешь, хозяин,
равной моей жене,
самая лучшая девушка
в жены досталась мне.

Такого счастливого ранчо
даже на небе нет...
Налей-ка еще стаканчик,
чтоб я забыл тот след.



Мигель Андрес Камино

ГЕРБ

Никогда и никто не подумал
изваять монумент быку.
Он связал страну воедино
до того, как придумали рельсы.

Иссеченный ударами палки,
окровавленный и усталый,
это он протоптал дороги,
по которым проложены рельсы.

И поныне он трудится где-то,
продолжает все ту же работу,
пробивая копытами тропы,
по которым пролягут рельсы.

Я лишился покоя и сна,
так мне хочется видеть быка
на гербе моей славной провинции,
на гербе моего Неукена.

Вижу я восходящее солнце
между крепких стволов майтена,
а под ними на клеверном поле
отдыхающего быка.

ЧАКАЙЯЛЕРА

— Красавица чакайялера,
вся золотистая, как мед!
Ты поделуй мне не подаришь?
— Э, нет, сеньор, так не пойдет!

Нет, поделуй мы не дарим,
в долг не даем, не продаем,—
как урожай в саду плодовом,
мы собираем их вдвоем.

Кто он — сама еще не знаю,
но верю: скоро он придет
и поделуй, словно вишни,
с горячих губ моих сорвет...
А вы, сеньор,— совсем не тот...

— Красавица чакайялера,
вся золотистая, как мед!

ТАК ВОТ ВСЕ И ПОЛУЧИЛОСЬ...

— Как у вас там с Фелисиндой
получилось это, сын мой,
если переполошилась
вся ее родня?

— Сам не знаю. Фелисинда
мой платок сперва схватила
и уже пустилась было
наутек. Тогда я быстро
обнял за плечи девчонку
и прижал ее легонько
около плетня.

Тут подставила мне губы
Фелисинда-хохотунья,
и невольно к ней губами
потянулся я.

За платок расплата эта
очень по душе прищлась мне.
Так вот все и получилось.
Не брани меня.

СОЛНЦЕ И ЛУНА

Солнце, увидя луну,
сказало: «Прощай, ухожу!»
Но только день занялся,
оно возвратилось.

Луна, чтоб не быть в долгу,
сказала: «И я ухожу!»
Но только спустилась ночь,
она возвратилась.

Это влюбленных игра.
Так же играю и я:

как солнце и как луна,
я возвращаюсь.

«Прощай — ухожу!» — я всем
говорю
и каждый раз возвращаюсь.



Бальдомеро Фернандес Морено

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПАМПЫ

Молча ты пьешь у стойки маленькой
пulpерии.
Молча стоит у привязи твой неразлучный конь.
Черными были виски твои, стали совсем седые.
Знаки судьбы положены на лоб твой, как на
ладонь.

Тебе высматривать тучи, выслеживать ливней
лавины.
С ветром сухим и пыльным вести мужской
разговор.
Лоб твой похож на поле. Четыре глубоких
морщины
пересекают, как изгородь, его опаленный
простор.

СОРОК ВОСЕМЬ БАЛКОНОВ

Сорок восемь балконов у этого дома.
И на все сорок восемь хоть один бы цветок.
Что за люди живут в этих серых хоромах,
ароматы земли не пустив на порог.

Строй равняют балконы мышинового цвета.
Камень душу гнетет, зажимает в тиски.
Неужели стихов здесь не пишут поэты
и не плачут невесты от внезапной тоски?

Проживающим здесь неужели не надо,
чтоб душистый горошек дышал за стеной,
чтобы розовый куст, как подобие сада,
говорил о природе, хотя бы ручной?

Вам растенья чужды, ненавистны вам птицы.
Вам, живущим без песен, любви и стихов.
Вас обходят дожди, вам не светят зарницы...
Сорок восемь балконов — и все без цветов...



Фернан Сильва Вальдес

МИЛОНГА ДЛЯ ВСЕХ

Я милонгу сейчас спою,
я вам на гитаре сыграю,
но цветными лентами гриф
украшать, друзья, не желаю.
Не знамя в руках у меня,
а только гитара простая!

Что ж, послушать мои слова
и креолу и гринго стоит.
Никогда никого из них
не обидит пеньё такое.
Для меня — они оба равны,
и песня моя — для обоих.

Я с чистой душою пою,
разноцветных лент мне не нужно;
только вот гитару возьму
да струну натяну потуже,
и пусть дружбе разных знамен
эта честная песня послужит.

Как решил, спою до конца,
если даже впотьмах петь придется,
если нечего будет пить,
если весь народ разоидется,
если вдруг под моей рукой
задрожит струна и порвется!

То, о чем я хочу сказать,
одинаково всех тревожит,
кто живет на нашей земле,
без различия цвета кожи:
лишь наружностью, не душой,
друг на друга мы не похожи.

Но и это несходство лиц
в Америке нашей не вечно,
породнит нас ветер степной,
наделит нас единой речью.
Ну, а что касается душ,—
есть одна душа — человечья.

Пусть не каждый родился здесь,
много мест есть разных на свете,
но кто этот край полюбил,
чьи родились креолами дети,
здешний он не меньше, чем мы,
чем гуляющий в пампе ветер.

Здесь один закон для людей
без различия цвета кожи,
и одна работа для всех,
и мученье, и радость тоже.
Только потом да тяжким трудом
каждый счастья добиться может.

Сам я гаучо, и друг мне любой,
кто не может жить без работы,
а откуда он род ведет,
это уж не моя забота.
Если есть привычка к труду,
заходи — открыты ворота.

Только, думаю, об одном
забывать при этом не стоит:
совесть мы на чаше весов
отмеряем меркой одною —
приходи с пустым кошельком,
но с открытой, честной душою.

Вот и песне конец, друзья,—
я не зря вас так называю,—
берегите дружбу всегда,
честь свою никогда не роняя.
Пусть все гаучо это поют,
пусть все люди о том мечтают!

ГИТАРА

Гитара,
ты всем надоела,
твои струны оборванные, словно космы, висят.
Ты похожа на женщину, непричесанную
растрепу,
которой нет дела до того, что о ней говорят.

Нудишь старую песню, тянешь все ту же
унылую ноту,
твое заунывное треньканье
в горле стоит колом.
Ты похожа на первую красотку селенья,
которой все мужчины твердят об одном.

Ты раскинула руки, лениво потягиваешься
в однозвучной ритмичной тоске,
ты молчишь, и рот твой щербатый
растягивается в зевке.

Гитара,
у тебя нет возлюбленного;
кто тебе говорит о любви, —
без любви и при всех обладает тобой,
благодарные слушатели глазают и хлопают
в этот час надругательства над твоей чистотой.
Гитара, у тебя нет возлюбленного,
с настоящим мужчиной
много лет не была ты один на один.

Нос не вешай, гитара,
он придет, ты останешься с ним с глазу
на глаз,

и, мужскую ласку изведав,
ты родишь счастливую песню,
молодую, звенящую над землей.

ГОРЬКИЙ МАТЕ

Есть в тебе грубоватая резкость
и крепость ладони мужской,
горький мате.
Ты везде и повсюду со мной,
когда весело мне и печально...
Я пригублю тебя, и отхлынет от сердца
тоска,

сгинут беды, и радость придет,
в моем доме невзгоды растают.

Горький мате!
Ровесник моим сапогам,
звонким шпорам, певунье-гитаре,
непоседе-гитаре,
то в лазурных, то в алых лентах
щеголяющей перед нами.

Кто откажется в поле выпить тебя,
губ не смочит сухих,
кто к тебе не протянет руки закрутой?
Горький мате!
Я хочу с тобой жизнь разделить,
ты по жилам упругим течешь,
горяча мою кровь, горьким соком земли
наливаешь тяжелое тело.

Горький мате! Ты горестный знак
жизни гаучо трудной,
и бомбилья, открыв свой серебряный
ключ,
заливается птахою утром.



Педро Леандро Инуче

ГИТАРИСТ ИЗ КОРРЬЕНТЕС

В те годы
мой отец держал пульперию,
здесь слушали песни охотно
и в карты играли крестьяне
всякий раз, как вечер настанет.

Однажды походкой легкой,
покрытый дорожной пылью
(знать, прибыл он издалека),
коррентионец вошел в пульперию.

Крестьянам притихшим
был голос его чуть слышен,
когда, прислонившись к стойке,
бразильской водки спросил он.

А после с тоскою
бессильной
взглянул коррьентинец плечистый
на бледного гитариста.

— Я тоже смог бы, —
сказал коррьентинец глухо, —
сыграть вам немного.

Ему передали гитару,
воздух наполнился гулом,
и, замирая, глядел я,
как перелетали
пальцы смуглого чародея
с одной струны на другую.

Гитара зарокотала,
хлынули переборы,
и донеслась простая
мелодия перикона;

ритмы все нарастали,
звенела неистово самба,
а вслед ей — милонги, маламбо,
и вот уже время настало
для славных песен восстанья;

видалита, как крик прощальный,
полная скрытой печали,
напоминала о смерти,
и напевы индейцев мерно
и знакомо звучали...

Вдруг коррьентинец проворно
кидает
в воздух свою гитару.

Струны бьются неудержимо,
и, наконец, он любовно
перебирает их снова,
склонившись над ними.
Гитара приникла к нему покорно,
а струны дрожат беспокойно,
словно простертые к свету ветви,
которые тронул ветер.

Гитара прижалась к ладони —
замерли руки
(только в любви так послушно
бывает тело),
точно ее пронзили молнии звуков,
точно она в наважденье дьявольском
пела.

А наважденье это никак не проходит,
все слушают молча, пьяные от
мелодий,



Диего Новилло Кирога

СПИ В КОЛЫБЕЛИ

Спи-усни, мой гаучито,
словно солнце, золотой,
спи-усни, моя кровинка,
мальчик мой родной.

Только что на свет явился —
все ему подай,
и баюкай, и агукай,
пой да забавляй.
Только есть начнет мальчишка —
смолкнет невзначай:
хитрый сон к нему подкрался,
баюшки-бай-бай.

Спи-усни, мой гаучито,
словно солнце, золотой,
спи-усни, моя кровинка,
мальчик мой родной.

Чтобы мог мой гаучито
сладко-сладко спать,
лисью шкуру в колыбельку
надо подстлать,
ремешками колыбельку
надо привязать,
в колыбельке гаучито
буду я качать.

От тебя, лентяй мой милый,
я не отхожу —
колыбель твою качаю,
сон твой сторожу.

ВИДАЛИТА

Словно в грудь меня ударили ножом,
 видалита,
без вины ударили.
Заболели, засвербили у меня,
 видалита,
раны давние.

Пусть сильней кровотоцит,
 видалита,
моя рана каждая.
Стоит вспомнить о былом,
 видалита,
все багровым кажется.

Ревность сил мне придала,
 видалита,
где их взял — не ведаю.
Поле страсти я покинул навсегда,
 видалита,
и отверг неверную.

Лучше б жгучая тоска,
 видалита,
душу мне не трогала.
Ах, любимая сбежала от меня,
 видалита,
как от колченогого.

Что мне пользы в тех слезах,
 видалита,
что текут лавиною?
Все равно неблагоприятная моя,
 видалита,
не придет с повинною.

Что мне пользы в тех словах,
 видалита, —
«время вроде лекаря»?
Все равно не одолею ту любовь,
 видалита,
до скончанья века я.

Что мне пользы в тех смешках,
 видалита?
И с веселой миною
все равно мне не удастся никогда,
 видалита,
позабить про милую.

Точно омут, горе горькое мое,
 видалита:
сверху золоченое,
а внутри, ты только посмотри,
 видалита,
черным-черное.

ЧАКАРЕРА

Что, гордячка-чакарера,
ты не в меру весела —
пляшешь все да распеваешь,
в поле месяц не была?

Если ночью дождь прольется,
ты не выйдешь со двора,
целый день сидишь без дела,
если на поле жара!

Никогда ты не стирала,
не варила, не пекла,
вышивать да наряжаться —
вот и все твои дела.

Ну и что ж! Но чакарера
и проворна и быстра,
если пляшут чакареру.
Выходи! Плясать пора!

ВТОРАЯ ЧАКАРЕРА

Жаль того, кто волочится,
чакарера, за тобой.
Как от засухи пшеница,
он от жажды пропадет.

Карты гордой чакареры
не узнаешь наперед:
как ни кинь — одни насмешки
вызывает каждый ход.

С раскаленными углями,
чакарера, не шути,
и тебя прихватит пламя —
беспокойный огонек.

Чакарера, чакарера,
не встречайся на пути...
Лучше быть слепым, чем видеть
этих гордых недотрог!



Хосе Рамон Луна

КАРНАВАЛЬНЫЕ КУПЛЕТЫ

Для песни моей печальной
музыки не нужно особой.
Под барабан карнавальный
каждый ее спеть способен.

Луна-барабан, по вечерам
аккомпанируй моим слезам.

Не вынесло сердце обмана,
и вот от любви разорвалось.
Об этом все барабаны
поют на всех карнавалах.

Ночь моя слишком темна,
посвети же сюда, барабан-луна,

Любовь, словно кровь из раны,
бежит по тропе неровной.
Сердца у нас — барабаны
для песни моей любовной.

Луна-барабан, в небе плыви,
сердце мое болит от любви.

Если есть барабан подобный,
дай музыкантам отдых.
Дать волю слезам попробуй,
и стон твой подхватит воздух.

Луна-барабан, молчи...
Твой стон прозвучал в ночи...

Ты плачешь от песни унылой,
песню ветра послушай.
Камень дал тебе силу,
луна и солнце — душу.

Луна-барабан, луна-барабан,
камень, солнце, песнь, ураган,
сердца моего барабан.

РЕШИМОСТЬ

У хозяина в запруде
есть вода — полным-полно!
Коль добром не даст он людям —
мы отнимем все равно!

Вновь отчаянье шагает
по предместьям городка.
На плече его три песни:
лом, лопата и кирка!

Плачут женщины — их лица
почерневшие в слезах.
Тихо заросли маиса
умирают на холмах.

Бог не слышит вас, не плачьте,
где б ни пряталась вода,
верьте: так или иначе
приведем ее сюда!

Стонут дети. Что им снится?
Как унять недетский страх?
Тихо заросли маиса
выгорают на камнях.

Под землей искать мы будем,
где б ни пряталась вода —
мы найдем ее, добудем,
приведем ее сюда.

У хозяина в запруде
есть вода — полным-полно!
Коль добром не даст он людям —
мы отнимем все равно!

ПЕСНЯ ПАХАРЯ

Я спину гну под солнцем
на борозде своей,
я спину гну под солнцем
для своих детей.

Зарю встречаю в поле
я каждый божий день,
под стук веселый сердца
трудиться мне не лень.

Тум-тум — кипит работа,
а пот все солоней.
Тум-тум — трудов не жалко
для своих детей.

Чуть солнце приласкает,
на сердце веселей.
Провосится, как песня,
горячий суховей.

Я спину гну под солнцем,
работай — не робей,
пусть хлеба будет вдоволь
у моих детей.

Тум-тум — стучу мотыгой
в вечерней тишине,
и сердце, как гитара,
подыгрывает мне.

Уже угасло солнце
над бороздой моей,
я спину гну до ночи
для своих детей.

Я НАПИЛСЯ

Ну да, сеньор... я пьян изрядно,
я утолил сегодня жажду,
но я еще не сдох покуда,
а остальное все не важно.

Ну да, сеньор... я пьян, конечно,
ну кто же станет спорить с этим,
на ровном месте спотыкаюсь,
плетусь, бодая тень и ветер.

Ну да, сеньор, я пьян бесспорно,
но на свои же деньги пил я.
Я выпил водки и алохи,
а напоследок пил тинтильо.

Был у меня клочок землицы,
мне хорошо жилось на свете.
И, словно козочки, беспечно
резвились возле ранчо дети.

Был у меня клочок землицы,
но у меня его забрали.
— Ты им владеешь незаконно! —
так бедняку в суде сказали.

Но я ведь здесь всю жизнь работал.
Куда же бедняку податься?
Нет у него другого права,
как спину гнуть и напиваться.

А дети разбрелись по свету,
бог ведает, где свили гнезда.
Все начинать опять сначала
мне, старику, пожалуй, поздно.

Пойду и растянусь на поле,
с которого меня сгоняют,
и буду там лежать, доколе
меня с землею не сровняют.

СУДЬБА

Мне жить бы, как растению,
с его судьбой сравниться:
подняться ближе к небу
и в землю углубиться.

Не правда ли, сеньоры,
завидное желанье?
Под снегопадом жизни
цвести без увяданья.

О, если б песней этой
я по ветру развеял
все радости, все горе,
которые изведал.

Но что за польза, право,
вслух говорить без толку
про то, о чем в душе ты
вздыхаешь втихомолку.

Я — ГОНЧАР

Для воды кувшины, бочонки!
Вода — это божий дар.
Я продаю посуду,
ведь я — гончар.

Кувшин — под сироп виноградный,
а миска — для меда годна,
бочонки — для терпкой алохи
и — для вина!

Все это только из глины,
из глины, сеньор.
Я делаю эту посуду
с давнишних пор.

С виду кувшин невзрачный,
однако ручаюсь я —
он мутной воде возвращает
прозрачность ручья.

Этим и знаменит я,
ведь я — гончар,
бочонки, кувшин крутобокий —
хороший товар.

Кувшин для алохи глазурью
не зря покрывал.
Купите, он пригодится,
когда придет карнавал.

А этот бочонок испытан,
налейте полней
тягучей, терпкой алохи,
чтоб пить за друзей!

Огонь и немного глины —
уменье пришло не вдруг —
и вот раствор приготовлен,
и пущен круг.

Только немного глины
и много труда и любви,
мы тоже — глина и солнце,
как нас ни назови!

Сеньбор, мы тоже из глины,
обжег нас солнечный жар...
Для воды кувшины, бочонки!
Вода — это божий дар.

Вот он, весь мой товар,
ведь я — гончар.



Амаро Вильянуэва

НАПЕВ

Мануэль Арайя,
грустью гитары измучен,
вечер вздыхает.

Мои вечера
канули в вечность —
их кто-то украл.

Скажу тебе, друг,
на любой из дорог
сторожит меня грусть.

Взгляни на тех пастухов.
Удел их до самой смерти
пасти хозяйских коров.

На женщин наших взгляни,
въелись навечно в ладони
следы аргентинской земли.

И погляди на гринго,
вон их наехало сколько
грабить мою Аргентину!

Их жены, как я примечаю,
важным заняты делом:
знай ублюдков рожают!

Взгляни на старых и слабых,
им приходится драться
из-за куска хлеба.

И на тех здоровых и юных,
парни крепко стоят на ногах,
только они — пеоны.

И ты, брат, меня прости,
но от этих печальных картин
гитара моя грустит.

Но я, приятель, уверен,
явится радость народу,
наступит такое время.

Запомни: счастье не манна,
само не свалится с неба —
завоевать его надо.

Мануэль Арайя,
за возвращенье удачи
пусть гитара сыграет.

Ведь музыка гонит прочь —
такая в ней, парень, сила —
усталость с сутулых плеч.



Эпифанию Ороско Сарате

ПРОЩАЙ!

Не обмануть мне боли, не пересилить
грусти,
тащится бык печали за мною следом;
сильным я был, твоей любви добиваясь,
слабым я стал, свое чувство тебе поведав.

Стоит ли мне говорить, что совсем другою
ты мне казалась, когда я, жаждой томимый,
у родника твоего хотел напиться,
но, как и прежде, остались губы сухими...

Не облегчить никаким утешеньем тяжесть
презрения, которого ты никогда не
скрывала...

Скорбью разорвано сердце мое — и отныне
даже собакам не нужен комок кровавый!..

Нес я тебе охапку травы пахучей,
не чуя беды и не веря дурным приметам...
Нес я тебе охапку травы душистой...
А что с нею случилось — лишь дьявол знает об
этом!

Я уйду — только этого ты не заметишь,
нет, ты не будешь в бреду метаться ночами
и вспоминать тот день, когда ты убила
мою надежду своим ледяным молчаньем.

Даже бежать от тебя сейчас не могу я,
будто мне лассо туго стянуло плечи.
Стал я похож на связанного тельца,
что навсегда клейм м твоим отмечен!..

Твой беззаботный голос мне слышится
всюду,
Что ж, веселись, — надо мной ты смеяться
вправе;
я, как и ты, был не прочь балагурить с
жизнью,
пока моих губ не коснулась ее отравы!

Но и тебе еще боль испытать придется,
встретишься ты в недоброе время с нею,
и если случится тебе тогда заплакать,
кликни меня — я утешить тебя сумею.



Серафин Хосе Гарсиа

ПРАВОСУДИЕ

Как охотничьи злобные псы,
дичь догнав, ей вгрызаются в тело,
так на гаучо, грозно рыча,
свора стражников налетела.

Когти хищные жадно впились
в загорелую шею пеона, —
и посыпались градом пинки,
и капрал заорал иступленно.

Заарканив его, как быка,
для острастки жестоко избивли
и в участок судить повезли,
привязав под брюхо кобыле.

В деревянных колодках всю ночь
он сидел на полу, задыхаясь,
а капрал ему вместо воды
дал рассолу хлебнуть, чертыхаясь...

Утром важный и толстый судья
целый час разглагольствовал в раже
и велел его бросить в тюрьму
на полгода за злостную кражу.

Как такому судье объяснишь, —
к воплям голода сытые глухи, —
что с соседней асьенды овцу
он увел, одурев с голодухи.

Что хозяин его, обозясь,
выгнал вон из поместья, с работы,
и пришлось побираться ему —
ведь с детьми подыхать неохота.

А владелец овцы так богат,
что и сам сосчитать не возьмется,
сколько сотен быков и овец
на его тучных землях пасется.

Что, пока он мытарится тут,
в его ранчо, убогом домишке,
без кормильца оставшись, ревут
над пустым очагом ребятишки...

МОЛИТВА

Боже правый! Ты правишь землей и небом.
Ты всемогущ. Я в это, конечно, верю.
Ты захочешь — и блеск отберешь у молний
и немедля умолкнуть прикажешь ветру.

Верю, боже, ты создал вот эти звезды,
чтоб, как свечи, во сне они нам светили.
Над землею, одетой в глубокий траур,
каждый вечер выводишь луну в мантилье.

Верю — ты наточил ягуару когти
и наполнил отравой змеиное жало,
сделал твердыми клювы орлов кровожадных,
но, скажи, где прощенье твое и жалость?

Как в твое милосердие мне поверить?
Если ты милосерден и вправду, боже,
почему ты велел умереть любимой,
той, что царства небесного мне дороже?

Ты же знаешь, о господи, как любил я!
Будто солнышко в сердце моем всходило
и душа расцветала весенним цветом,
как я только мечтой уносился к милой.

Словно утро была она. Словно зорька,
что встает, когда на небе звезды гаснут.
И веселой была, как звенящий улей.
И была, как цветок полевой, прекрасна.

А какой она доброй была и кроткой!
Ни упрека, ни жалобы, ни обиды
не рождалось в открытом и щедром сердце,
в этом ласковом сердце любвеобильном!

Как в тебя она верила, как молилась!
«Отче наш» говорит перед сном, бывало,
а душа, переполненная любовью,
так и бьется в груди ее пташкой малой.

Ты убил ее. И не подумал, верно,
что я жил, как нам велено жить в Писанье.
Так за что посылаешь мне эту муку —
вечно свежую рану воспоминаний?

Я не верю в твое милосердие, боже.
Все, что дорого нам, ты крушишь нещадно.
Вся твоя беспредельная сила только
для того, чтобы нам приносить несчастья.

Ты зачем одарил нас горячим сердцем
и велел относиться с любовью к людям?
Сам же нас заставляешь страдать и плакать
и у нас отнимаешь, кого мы любим.

Разве могут утешить твои обещанья,
что мы счастье найдем за порогом рая?
Если здесь, на земле, не даешь нам счастья,
для чего нам за гробом оно, не знаю!

РОМАНС НА СМЕРТЬ ХУАНА
БЕЗЗЕМЕЛЬНОГО

На грубом столе из досок,
не осененный распятьем,
лежит в обветшалом ранчо
Хуан Безземельный, пахарь.
Весь век свой пахал он землю —
да было поле чужое,
посеял море пшеницы —
да дети не ели хлеба.
Его увезут на дрогах,
как только настанет утро.
Трудился пахарь полвека,
теперь лежит недвижимо,
большие руки застыли,

глаза уставлены в небо,
пепел годов и страданий
на волосы лег густые.
Мигают сальные свечи,
стоят у гроба крестьяне,
и дым табачный, как ладан,
над телом его курится.
За пологом полотняным
в углу холодной лачуги,
наплакавшись, сном тревожным
в обнимку дети уснули,
а мать, к сыновьям прижавшись,
беззвучно и горько плачет.
Какой безысходной грустью
от этого бдения веет,
от зимней студеной ночи,
лишенной тепла и мате.
Свинцом налились минуты,
молчанье сделалось жестким,
а лемех дум неотвязных
пласты обид подымает.
Их шестеро здесь, у гроба,
их шестеро, земледельцев,
у них корявые руки,
тяжелые руки в мозолях.
Свечей неяркое пламя
дрожит на иссохших лицах,

дрожит и гаснет в бесцветных
глазах стариков угрюмых.
Тоскливо ночью у гроба
под кровлей ветхого ранчо,
гнусявую песню тянет
зима, кривая старуха.
Стоят старики угрюмо,
все ждут не дождутся утра,
печально следят за луною,
причудливым снежным узором
убравшей мерзлую землю.
А ночь — без конца и краю,
и в доме лежит покойник,
и ветер сквозь щели свищет,
и нет ни огня, ни мате!
Мигают сальные свечи,
роняют густые слезы,
а шесть стариков все курят,
и воздух от дыма синий.
Его увезут на дрогах,
как только настанет утро.
Лишь скрип колес одинокий
проводит его до могилы.
За то, что чужое поле
поил он полвека пóтом,
обрел желанную землю
Хуан Безземельный, пахарь.

РОМАНС О НЕВЕСЕЛОМ ПАХАРЕ

Тянет и тянет упряжка
лемех, режущий поле,
иней на черных комьях
блещет россыпью соли.

Вспорото бороздою
брюхо земли упругой,
пахнет она душисто,
ластится к грубому плугу.

Дрозд с белоклювой голубкой,
по полю шествуя чинно,
роются в черных комьях,
ищут червей и личинок.

Тянет и тянет упряжка,
топчет землю-смуглянку,
блещет сахарный иней,
выпавший спозаранку.

Пахарь идет за плугом,
брови насупив хмуρο,
медью сверкает кожа
в дымке раннего утра.

Он молчаливей камня,
не услышать его пенья,
голову низко понунив,
бредет он печальной тенью.

Соком багряной черешни
утро подкрасило небо,
глину гончар мешает,
славно посуду лепит.

Пахнет горько и пряно:
в поймах весна хлопочет,
нежный прозрачный воздух
дышит клейкостью почек.

Таает белая морозь,
гибнут черные беды,

вот и сентябрь-мальчишка
пляшет среди побегов.
Облака космы седые
крыльями режет аист,
и красногрудая птица
с криком над лугом летает.

Солнце бросает охапки
света на луг ароматный,
день наполняет котомку
цветом лаванды и мятой.

Тянет и тянет упряжка,
путь ее долог и труден,
новой жизни поклажу
дарит сентябрь людям.

Что ж он так поскупился,
пахарю за старанья
не дал ветки надежды,
алых роз обещанья?

Ах, невеселый пахарь!
Горло тоска сдавила,
в черных глазах печальных
горе твое застыло.

Как на ветру загубели
руки твои в мозолях,

стали шершавы, как корни,
солнцем спаленные в поле.
Снова земля подарит
людям колосья литые,
хлынет зерно рекою,
но в закрома чужие.

Землю опять пропитает
сладостный запах хлеба,
снова с зерном янтарным
в город повозки уедут.

Пахарь, готовься к севу,
поле режь бороздою,
новый хлеб уродится,
станет новой мукою.

Тянет и тянет упряжка,
в двери сентябрь стучится,
в зарослях трав зеленых
снова весна искрится.

Пахарь мой невеселый,
пашешь ты землю чужую!
Сколько зерна ты сеешь,
а корку жуешь сухую.



Атауальпа Юпанки

ПРОЩАНИЕ

Мне сказали глаза твои, черные птицы,
мне сказали — любовь не возвратится.

Стала в сумерках пампа печальной, серой.
Схоронилась луна за зубчатой сьеррой.

По тропе каменистой ты уходишь в горы,
на тропе каменистой остается горе.

Будешь в сумерках зыбких ты часто
сниться...
Не вернется любовь — мне сказали птицы.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Твой сон темнота торопит.
Он с песней спешит, мой мальчик.
Твой сон поет по дороге,
как поют реки.

Меж скал протекают годы —
вот наша судьба, мой мальчик.
Меж скал протекают годы,
как текут реки.

Когда наступает вечер,
сон с песней спешит, мой мальчик.
И даже далекий ветер
в горах засыпает...

ПОНЧО

В полдень спасает от зноя,
в полночь — от стужи и горя.
Ты знаменем стало, пончо,
для тех, кто покинул горы.

Под знаменем бьется сердце,
вы слышите — не стихает,
вы видите — краски заката
вспыхивают стихами!

В беде предавать не будет,
чужую не выдаст тайну,
обиды не стерпишь — пончо
щитом тебе верным станет.

Когда замирает песня
за поворотом дороги,
погонщик ему расскажет
о том, что печали дороже.

Суровые краски темнеют —
умеет быть грустным пончо,
но как они расцветают,
если смеется погонщик!

В полдень спасает от зноя,
в полночь — от стужи и горя.
Слышите — это сердце
бьется под знаменем гордо!

САМБА

Снова музыка бродит ночами,
весь мир в ожиданье жадном.
Это игры любви и самбы,
хороводы огня и жажды.

Почему янтарного блеска,
как мед, напев этот полон?
Это плачут индейские флейты,
поют гитары креолов.

И земля, превратившись в самбу,
целуется с ветром горьким.
Ее платье — чаша и пламя,
накидка — синие горы.

Стало облако белым пончо.
Вдали зазвенели арфы.
Цветы запевали звонче,
танцуя, вставляли в пары.

Вслед за солнцем, как белые капли,
скатились стада по тропам.
По руслу из сна и камня
уплывала песня потоком.

Становился все глубже вечер.
Взбирались звезды все выше.
И как самбу забрасывал ветер
весь мир на звездную крышу.



КОММЕНТАРИИ

КОПЛАС

Коплас (от исп. coplas — куплеты) — популярный жанр народной поэзии Испании и Латинской Америки. Обычно это четверостишия, состоящие из восьмисложных строк.

Стр. 26. *Мате* — парагвайский чай; напиток, распространенный во всей Латинской Америке.

Стр. 27. *Кока* — южноамериканское растение, листья которого содержат тонизирующие соки. Местные жители часто жуют листья коки, чтобы утолить голод.

Стр. 28. *Пончо* — верхняя одежда гаучо, которая служит ему также одеялом. Представляет собой четырехугольный кусок шерстяной ткани с прорезью для головы.

СЬЕЛИТО

Сьелито или *сьело* — старинная песня гаучо, сопровождающая одноименный танец. Название происходит от припева, в котором певец обращается к небу (исп. cielo, cielito — небо, небушко). Песня обычно состоит из восьмисложных четверостиший. Сьелито является своеобразной переработкой испанского романсового стиха.

ДЕВУШКИ ИЗ ТУКУМАНА

Стихотворение написано в форме романа — одной из самых популярных и древних форм народно-поэтического творчества Испании и Латинской Америки. Обычно это восьмисложные стихи с рифмой или ассонансом в четных строках.

Стр. 35. *Тукуман* — провинция на северо-западе Аргентины.

...бреет он макушку рьяно... — Насмешливый намек на обычай католических священников вырывать на голове часть волос, так называемую «тонзуру».

ВИДАЛИТА

Видалита или *видала* (от исп. vidalita, vidala) — народная песня, по своему происхождению связанная с фольклором индейцев кечуа. Строфа вида-

литы состоит из шести строк, вторую и пятую строку образует слово «видалита».

ВОТ ГДЕ НЕВИДАЛЬ

Стихотворение написано в форме десимы — широко распространенной в народной поэзии Латинской Америки. Десима представляет собой строфу, состоящую из десяти восьмисложных строк.

СЕРДЦЕ, ПЛАЧЬ!

Народный певец использует библейские образы Ионы-пророка, Моисея, патриарха Иакова, царя Соломона лишь для того, чтобы подчеркнуть силу своей печали, и не только не заботится при этом о точности воспроизведения библейских преданий, но, по-видимому, не очень-то хорошо знаком с ними. Столь же фантастический характер носит и упоминание древнегреческого философа Платона в связи с именем Дианы (Артемиды) — богини луны, охоты и лесов.

ГАТО

Гаго (от исп. gato — кот) — задорная веселая песня, сопровождающая одноименный танец. Исполняет ее либо музыкант, либо танцующие. Песня обычно состоит из куплетов любовного содержания.

МЕДИА-КАНЬЯ

Медиа-канья — народная песня, сопровождающая одноименный танец; название его, видимо, происходит от испанских слов «media сапа» — мужские сапоги с невысокими голенищами. В таких сапогах со шпорами гаучо имели обыкновение танцевать. Песня, сопровождавшая танец, состояла из четверостиший, которыми обменивались танцующие. Танец к концу XIX века был почти забыт, а песня получила более свободные ритмические формы.

УЭЛЬЯ

Уэлья (от исп. huella — след, отпечаток) — аргентинская народная песня, сопровождающая одноименный танец. Песня состоит из куплетов чаще всего любовного содержания.

Стр. 68. *Терутеро* — крупная серая птица, обитающая в пампе. При приближении опасности птица издает громкий крик — «теру-теро», отсюда ее название.

ЧАКАРЕРА

Чакарера — веселая аргентинская песня, сопровождающая одноименный танец. Название происходит от слова «чакареро» (исп. chacarero) — земледелец (в отличие от скотовода — гаучо). В наше время чакарера сохранилась лишь в глухих уголках некоторых провинций Аргентины. По форме — это обычно четверостишие.

Чакарера — также крестьянка из провинций Буэнос-Айрес, Тукуман и др.

Стр. 76. *Гандил* — округ в провинции Буэнос-Айрес.

Айляучо — округ в провинции Буэнос-Айрес.

ПЕРИКОН

Перикон — старинная аргентинская народная песня, сопровождающая одноименный танец. Первоначально «перико» или «периконом» (от исп. regico, regicón) называли распорядителя танцев, позднее — сам танец. Песня обычно состоит из четверостиший.

Бартоломе Идальго (1788—1822)

Уругвайский поэт. Во время войны за независимость сражался в армии патриотов с 1811 по 1814 год. К этому времени относятся его первые «Сьелито», которые печатались листовками без имени автора. После захвата Монтевидео бразильско-португальскими войсками эмигрировал в 1818 году в Буэнос-Айрес, где продолжал создавать «Сьелито», а также опубликовал «Патриотические диалоги».

Идальго был одним из первых поэтов, воспевших гаучо.

СЪЕЛИТО О НЕЗАВИСИМОСТИ

Стихотворение написано по случаю годовщины провозглашения независимости вице-королевства Ла-Платы от испанского владычества (25 мая 1810 года в Буэнос-Айресе было образовано самостоятельное правительство).

Стр. 87. *...вечный союз провинций!* — После провозглашения независимости в 1810 году бывшее вице-королевство Ла-Платы официально именовалось «Объединенными провинциями Ла-Платы».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЪЕЛИТО, КОТОРОЕ СЛОЖИЛ ГАУЧО, ЧТОБЫ ВОСПЕТЬ БИТВУ ПРИ МАЙПУ

Стихотворение посвящено знаменитому сражению в долине реки Майпу к югу от столицы Чили Сантьяго. Здесь 5 апреля 1818 года аргентинский генерал Хуан Хосе Сан Мартин (1778—1850) — один из руководителей армии патриотов — одержал решительную победу над испанскими роялистскими войсками, обеспечив тем самым независимость Чили.

Стр. 89. *Чакабуко* — небольшое селение в долине Аконкагуа (Чили), где 13 февраля 1817 года войска патриотов под командованием Сан Мартина дали первое решительное сражение испанским роялистам на территории Чили и, одержав победу, на следующий день заняли Сантьяго.

Маркб дель Понт Касимиرو Франсиско (1765—

1819) — последний испанский военный губернатор Чили. После поражения при Чакабуко бежал из Сантьяго, но четыре дня спустя был взят патриотами в плен.

Осорио Марно (1777—1818) — испанский генерал, командовал королевскими войсками в сражениях при Чакабуко и Майпу.

Стр. 90. *Конча-Райяда* — долина к северу от чилийского города Талка, где в ночь на 19 марта 1818 года армия патриотов была захвачена враст-плох роялистами под командованием Осорио и потеряла поражение.

Стр. 91. *...друг Фернандо...* — ироническое обращение к королю Испании Фердинанду VII.

Иларио Аскасуби (1807—1875)

Аргентинский поэт-сатирик. Принимал участие в вооруженной борьбе против диктатуры Росаса. В 1830 году арестован в Буэнос-Айресе; после двухлетнего тюремного заключения совершает побег и перебирается в Монтевидео, где занимается журналистикой и литературой. После падения диктатуры Росаса в 1852 году Аскасуби возвращается в Буэнос-Айрес. В 1862 году едет в Париж и живет там почти до самой смерти. В 1872 году опубликовал в трех томах свои произведения. 3-й том составил большой роман в стихах «Сантос Вега, или Близицы из Ла-Флор».

САНТОС ВЕГА, ИЛИ БЛИЗНЕЦЫ ИЗ ЛА-ФЛОР
(ФРАГМЕНТ)

КЛЕЙМЕНИЕ СКОТА

Стр. 95. *Сантос Вега* — см. предисловие, стр. 8.

Стр. 98. *Масаморра* — народное креольское блюдо, приготавливаемое из молотого маиса. Горшок должен стоять на огне до тех пор, пока маис не загустеет. Чтобы масаморра скорее сварилась, в горшок иногда кладут металлический круг или плоский камень. Обычно масаморру затем охлаждают и едят с молоком и сахаром.

Стр. 99. *Блас*, или болеадорас, — ременная веревка с двумя или тремя каменными или деревянными шарами на концах, которую гаучо бросают под ноги бегущему животному и сбивают его с ног. Это оружие заимствовано у индейцев.

Эстанислао дель Кампо
(1834—1880)

Аргентинский поэт и писатель. С юных лет принимал деятельное участие в политической борьбе, сотрудничал во многих газетах и журналах, прославившись своими сатирическими стихами и эпиграммами. В 1870 году был избран депутатом парламента. В том же году опубликовал том своих «Стихов», куда вошли также поэма «Фауст», выпущенная отдельным изданием еще в 1866 году, и

стихотворение «Правление гаучо». «Фауст» Э. дель Кампо до нашего времени выдержал около ста пятидесяти изданий.

ФАУСТ (ФРАГМЕНТ)

(Разговор двух гаучо об опере «Фауст»)

Стр. 101. *Гринго* — презрительное прозвище иностранца в Латинской Америке.

ГАУЧО-ПРАВИТЕЛЬ

Стр. 112. *Алькальд* — здесь: сельский староста.

Комендант. — Имеется в виду ополченский начальник, проводивший в провинциях насильственную мобилизацию гаучо в войска, сражавшиеся против индейцев.

Хосе Эрнандес
(1834—1886)

Аргентинский поэт. Долго жил в пампе и проникся глубокими симпатиями к гаучо. Юношей участвовал в борьбе против диктатуры Росаса. В 1869 году основал в Буэнос-Айресе газету «Рио-де-Ла-Плата», со страниц которой обличал бесчеловечные законы, направленные против гаучо, и выступал за справедливые демократические реформы. В 1872 году выходит в свет первая часть эпической

поэмы Эрнандеса «Мартин Фьерро», в 1879 году — вторая. Эта поэма приобрела в Аргентине и во всей Латинской Америке огромную популярность; она осталась единственным литературным произведением Эрнандеса.

МАРТИН ФЬЕРРО (ФРАГМЕНТЫ)

Стр. 117. *Прима и бас* — струны гитары.

Стр. 118. *Корраль* — загон для скота.

Стр. 120. *Пульперил* — см. предисловие, стр. 3.

Стр. 121. *Нет, уж лучше рыть канавы.* — До введения на аргентинских пастбищах, по английскому образцу, проволочных ограждений для скота, крупные землевладельцы окапывали свои участки канавами. Гаучо гнушались подобной работы, и землекопами были, как правило, иммигранты из Европы, обычно — ирландцы.

Стр. 122. *...ведь голосовать-то я и взаправду не являлся.* — Пренебрегая нуждами гаучо, власти тем не менее требовали от них аккуратной явки на выборы.

Стр. 123. *Тренога* — ременные путы, которыми стреноживают коня.

Стр. 124. *...был растанут, для примера, между четырех столбов.* — Распространенное в те времена

в Аргентине телесное наказание для солдат: провинившегося привязывали за руки и за ноги к четырем столбам.

Стр. 126. *...тут нашли, мол, труп коня...* — Индейцы (особенно в походах) питались кониной, которую гаучо, как правило, в пищу не употребляли.

Рафаэль Облигадо
(1851—1920)

Аргентинский поэт, представитель позднего романтизма. В молодости принимал участие в политической борьбе, но очень скоро отошел от общественной жизни, целиком посвятив себя литературе. В 1885 году появилось первое издание его сборника «Стихи», куда были включены также три песни поэмы «Сантос Вега». В том же году эти три песни вышли отдельно. Песня «Гимн пайядора», ныне составляющая третью часть поэмы, была опубликована лишь в 1906 году.

САНТОС ВЕГА (ФРАГМЕНТЫ)

I. Душа пайядора

Стр. 128. *Пайядор* — см. предисловие, стр. 8.

Стр. 130. *Омбу* — большое раскидистое дерево, растущее в пампе.

Стр. 131. *Эчеверриа* Эстебан (1805—1851) — крупнейший аргентинский поэт-романтик.

IV. Смерть пайядора

Стр. 134. *Тристе* — один из лирических жанров народной поэзии гаучо; обычно посвящается меланхолическим размышлениям о несчастной любви.

Хосе Алонсо-и-Трельес (1857—1924)

Родился в Испании. В 1875 году эмигрировал в Южную Америку и после нескольких лет скитаний обосновался в уругвайском провинциальном городке Тала, где и прожил почти всю жизнь. Первые его стихи о гаучо появились под псевдонимом Старина Панчо в журналах Монтевидео в конце XIX века и сразу же привлекли внимание своим лиризмом. В течение многих лет стихи Трельеса почти не печатались. Их исполняли бродячие народные певцы. Лишь в 1916 году часть стихотворений была собрана поэтом в книге «Паха брава» (так называется дикая трава, растущая в пампе).

Мигель Андрес Камино (1877—1944)

Аргентинский поэт и журналист. Его стихи, посвященные жизни и быту гаучо и индейцев юго-западных предгорий Анд, вошли в сборники «Ча-

кайялеры» (1921), «Новые чакайялеры» (1923) и «Индийские бусы» (1926). В 1939 году поэт объединил их в одну книгу «Пейзаж, человек и песня».

ГЕРБ

Стр. 148. *Неукен* — провинция на юго-западе Аргентины.

Майтен — южноамериканское дерево с большими красными цветами.

ЧАКАЙЯЛЕРА

Стр. 149. *Чакайялера* — жителя горных районов Неукена, так называемых «чакайсе».

Бальдомеро Фернандес Морено (1886—1950)

Родился в Буэнос-Айресе. В молодости работал врачом в провинции, затем преподавал литературу в столичных гимназиях. В 1916 году выпустил сборник «Провинциальная интермедия». Позднее опубликовал около 20 книг лирических стихов, среди них сборники «Аргентинская деревня» (1919), «Сельский очаг» (1924), «Десимы и стихи» (1928), «Романсы и сегидильи» (1939) и другие. В 1941 году лучшие поэтические произведения 1915—1940 годов вошли

в «Антологию». Последний сборник стихов «Множество» (1949) удостоен литературной премии Союза аргентинских писателей.

Фернан Сильва Вальдес
(1887)

Уругвайский поэт. В молодости испытал на себе сильное влияние декадентской литературы; к этому времени относятся его сборники: «Глиняные амфоры» (1913) и «Фимиаи» (1917). Позднее, решительно порвав с декадансом, стал одним из основателей журнала «Фогон», вокруг которого группировались многие писатели, интересовавшиеся народной жизнью и национальным фольклором. Опубликовал сборники стихов: «Поток времени» (1921), «Блондины на наших полях» (1926) и другие. В своих стихах, посвященных гаучо, поэт обогащает образами современной поэзии традиционные формы фольклора. Особенно ярко это проявилось в сборниках «Романсы юга» (1938), «Рондо катонга» (1940) и «Поэтическая антология» (1943).

МИЛОНГА ДЛЯ ВСЕХ

Милонга (от исп. *milonga*) — современная народная песня, сопровождающая одноименный танец с очень живым, чеканным ритмом. Песня обычно состоит либо из четверостиший с охватной рифмой, либо из шестистиший с неточной рифмой или ассонансом в четных строках.

Стр. 157. *...но цветными лентами гриф украшать, друзья, не желаю.* — Намек на продолжавшуюся долгое время в Уругвае борьбу «красных» и «белых», двух политических партий.

ГОРЬКИЙ МАТЕ

Стр. 164. *Бомбилля* — тонкая тростниковая или металлическая трубка, через которую пьют мате.

Педро Леандро Ипуче
(1889)

Уругвайский поэт и писатель. В 1909 году был опубликован первый сборник его стихов «Две слезинки», удостоенный литературной премии. Последующие поэтические сборники — «Сцепления» (1918), «Новые крылья» (1922), «Глубинная земля» (1924), «Ликование и страх» (1926) и другие — выдвинули его в число наиболее значительных представителей уругвайского «нативизма». Лучшие стихи Ипуче собраны в антологии «Пути песни» (1944).

ГИТАРИСТ ИЗ КОРРЬЕНТЕС

Стр. 165. *Коррьентес* — одна из провинций Аргентины, долгое время боровшаяся против тирании генерала Росаса, а затем против усиления централизованной власти.

Стр. 166. *Самба* — аргентинская и чилийская песня, сопровождающая одноименный танец. Название ее происходит от слова «самбо» (исп. *zambo*) — сын негра и индианки.

Маламбо — аргентинский и уругвайский народный мужской танец.

...для славных песен восстанья... — Имеются в виду народные песни, создававшиеся в период войны за независимость.

Диего Новильо Кирога
(1899—1950)

Аргентинский поэт и публицист. Начав литературную деятельность со сборника декадентских стихов «Из моей башни слоновой кости» (1917), Новильо Кирога позднее обратился к изображению жизни народа. В течение ряда лет редактировал газеты «Ла Вердад» и «Ла Бастилья», органы прогрессивных молодежных организаций, а в последние годы жизни стал редактором газеты «Ла Ора» — в то время центрального органа Коммунистической партии Аргентины. Жизни аргентинского крестьянства — скотоводов-гаучо и земледельцев-чакареро — посвящены сборники стихов «Головная повязка» (1929), «Переборы струн» (1930), а также рассказы из книги «Пампа моих воспоминаний» (1939).

Хосе Рамон Луна
(1904)

Аргентинский поэт. Большую часть жизни прожил в северо-западной провинции Катамарка. Крестьянам этих горных районов — гаучо и индейцам — Луна и посвятил книги своих стихов «Безумный сирота» (1936), «Стихи индейских холмов» (1940) и «Я — гончар» (1957). В последние годы переселился в Буэнос-Айрес и занялся журналистикой. По его сценариям поставлено также несколько аргентинских фильмов.

Я НАПИЛСЯ

Стр. 185. *Алоха* — алкогольный напиток, приготовляемый из меда.

Тинтильо — молодое красное виноградное вино.

Амаро Вильянуэва

Аргентинский поэт, писатель и журналист. Его перу принадлежит поэтический сборник «Стихи для слуха» (1936), а также сборник рассказов «Рука» (1957). В своих стихах Вильянуэва следует народной романсовой традиции.

НАПЕВ

Стр. 192. *Мануэль Арайя* — один из народных пайядоров начала XX века.

Эпифанио Ороско Сарате

Аргентинский поэт, издавший всего один сборник стихов «Чертополох» (1929). Однако его стихи, посвященные острым моральным и социальным проблемам, публиковались на страницах передовых газет и журналов Аргентины. Многие стихи Ороско Сарате исполняются пайядорами.

Серафин Хосе Гарсиа
(1908)

Уругвайский поэт, писатель, литературовед. Первая книга его стихов «Тукурусес» (1936) посвящена быту и жизни гаучо. За шесть лет эта книга выдержала семь изданий. Затем появляются сборники стихов «Горькая земля» (1938), «Грязь и солнце» (1941). В своих поэтических произведениях, обличающих социальные язвы современной уругвайской деревни, Гарсиа ориентируется на поэтическую традицию выдающегося испанского поэта Федерико Гарсии Лорки. Большой популярностью пользуются также сборники рассказов Гарсиа «Живая плоть» (1937), «Асфальт» (1944) и прозаические басни «Приключения Хуана-Лиса» (1951). Гарсиа — автор известных литературных исследований: «Панорама поэзии гаучо и нативизма в Уругвае» (1941) и «Панорама нативистского рассказа в Уругвае» (1943).

ПРАВОСУДИЕ

Стр. 198. *Асьенда* — поместье.

РОМАНС О НЕВЕСЕЛОМ ПАХАРЕ

Стр. 207. *...вот и сентябрь-мальчишка...* — В Аргентине сентябрь — первый весенний месяц.

Атауальпа Юнаны
(1914)

Аргентинский поэт. Индеец по происхождению. С середины 40-х годов приобрел широкую популярность как поэт-фольклорист, композитор и певец, исполняющий под аккомпанемент гитары собственные песни и собранные им фольклорные произведения индейцев и гаучо. Известен как прогрессивный деятель, не раз сидел в тюрьме. Его песни часто публикуются в прогрессивной печати, распространяются в граммофонных записях.

СОДЕРЖАНИЕ

3. Плавскин. Песни пампы	3
------------------------------------	---

МУЗА НАРОДНАЯ

Коплас. Перевод Н. Горской	25
Сьелито. Перевод Н. Горской	33
Девушки из Тукумана. Перевод Г. Полонской	35
Видалита. Перевод Т. Жирмунской	36
Вот где невидаль. Перевод В. Васильева	39
К богачу как-то ранней порою... Перевод Г. Полонской	41
Индийская колыбельная. Перевод Г. Полонской	44
Дам-дай-нам... Перевод Н. Горской	46
Мате. Перевод М. Ярмуша	47

В час с тобой я свел знакомство... Перевод Г. Полонской	50
Гитара. Перевод М. Тарасовой	51
Сердце, плачь! Перевод М. Ярмуша	53
Разборчивая невеста. Перевод Г. Полонской	56
Гато. Перевод И. Даниловой	58
Медиа-канья. Перевод Н. Горской	60
Снег, ты щиплешь мне лапки... Перевод В. Васильева	61
Уэлья. Перевод М. Тарасовой	68
Прощай, голубка. Перевод Д. Орловской	71
Уэлья. Перевод И. Миронер	73
Чакарера. Перевод М. Тарасовой	75
Перикон. Перевод Н. Горской	78
Загадки. Перевод В. Васильева	81

ПОЭТЫ О ГАУЧО

Бартоломе Идальго

Сьелито о независимости. Перевод Н. Олева	85
Патриотическое сьелито, которое сложил гаучо, чтобы воспеть битву при Майпу. Перевод Н. Олева	89

Иларио Аснасуби

Сантос Вега, или Близнецы из Ла-Флор (фрагмент). Перевод М. Тарасовой	95
Клейменне скота	

Эстанислао дель Кампо

- Фауст (фрагмент). Перевод А. Якобсона 100
Гаучо-правитель. Перевод Г. Андреевой . . 110

Хосе Эрнандес

- Мартин Фьерро (фрагменты). Перевод
М. Донского
Песнь первая 115
Песнь третья 120

Рафаэль Облигадо

- Сантос Вега (фрагменты). Перевод Ю. Ай-
хенвальда
I. Душа пайядора 128
IV. Смерть пайядора 131

Хосе Алонсо-и-Трельес

- Стертая ленточка, старая песенка... Пере-
вод Ю. Айхенвальда 140
Хоп-хопа! Перевод М. Ландмана 143
След. Перевод М. Тарасовой 145

Мигель Андрес Кампино

- Герб. Перевод И. Шангырь 147
Чакайялера. Перевод И. Шафаренко . . . 149
Так вот все и получилось... Перевод В. Ва-
сильева 150
Солнце и луна. Перевод И. Шангырь . . . 152

Бальдомеро Фернандес Морено

- Человек из пампы. Перевод В. Столбова . . 154
Сорок восемь балконов. Перевод В. Стол-
бова 155

Фернан Сильва Вальдес

- Милонга для всех. Перевод Г. Полонской 157
Гитара. Перевод Г. Шмакова 161
Горький мате. Перевод Г. Шмакова . . . 163

Педро Леандро Инуче

- Гитарист из Коррьентес. Перевод И. Смир-
нова 165

Диего Новильо Бирога

- Спи в колыбели. Перевод И. Даниловой . . 170
Видалита. Перевод Т. Жирмунской . . . 172
Чакарера. Перевод Д. Орловской 175
Вторая чакарера. Перевод Д. Орловской . . 177

Хосе Рамон Луна

- Карнавальные куплеты. Перевод И. Брод-
ского 179
Решимость. Перевод И. Миронер 181
Песня пахаря. Перевод Г. Полонской . . 183
Я напился. Перевод М. Ландмана 185
Судьба. Перевод М. Ландмана 187
Я — гончар. Перевод И. Миронер 189

Амаро Вильянуэва

Напев. Перевод Н. Олева 192

Энифанио Ороско Сарате

Прощай! Перевод И. Смирнова 195

Серафин Хосе Гарсиа

Правосудие. Перевод И. Шафаренко 197

Молитва. Перевод Д. Орловской 199

Романс на смерть Хуана Безземельного.
Перевод Г. Полонской 202

Романс о невеселом пахаре. Перевод
Г. Шмакова 205

Атауальпа Юпанки

Прощание. Перевод Н. Горской 209

Колыбельная. Перевод И. Смирнова 210

Пончо. Перевод И. Смирнова 211

Самба. Перевод Н. Горской 213

Комментарии 215

ПОЭЗИЯ ГАУЧО

Редактор С. Шмидт

Художественный редактор Д. Ермоленко

Технический редактор Э. Евдокимова

Корректор М. Доценко

Сдано в набор 6/VI 1964 г.
Подписано к печати 20/X 1964 г.
Бумага 70 × 90¹/₃₂ = 7,5 печ. л.
8,7 усл. печ. л. 6,28 + 1 вкл. = 6,31
уч.-изд. л. Тираж 10 000 экз.
Заказ 2356. Цена 36 коп.

Издательство

«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Политиздата.
Москва, Краснопролетарская, 16.